



Валерий
Брюсов

Избранная
проза

Валерий Яковлевич Брюсов

Юпитер поверженный

В сборник включен исторический роман В. Я. Брюсова (1873–1924) «Юпитер поверженный», посвященный заключительному этапу борьбы язычества с христианством в Римской империи IV века.

Содержание

Книга первая0006
I0006
II0008
III0014
IV0023
V0038
VI0050
VII0063
VIII0074
Книга вторая0089
I0089
II0098
III0108
IV0117
V0128
VI0139
VII0151
VIII0156
IX0167
X0183
XI0190
XII0203
XIII0215
Книга третья0228
I0228

II	0232
III	0242
IV	0257
V	0266
VI	0271
VII	0278
VIII	0285
IX	0294

Валерий Брюсов
Юпитер поверженный
Повесть IV века

Книга первая

I

Во имя Отца и Сына и Святого духа! Я, кого прежде звали Децимом Юнием Норбаном, ныне смиренный инок Варфоломей, недостойный член братства в Высшем монастыре, на Лигере,[1] славной по всему Западу обители, коей начало положил сам незабвенный подвижник и наш патрон Мартин из Турон, ныне уже почиющий в Боге, – приближаясь к концу моего земного странствия, когда предстоит мне скоро дать ответ за все содеянные мною прегрешения пред Судьей нелицеприятным, вознамерился в этих книгах описать, ничего не утаивая, до каких страшных пределов падения я доходил и каким путем неизреченная милость Спасителя нашего привела меня к покаянию, истине и жизни новой. Помимо того, что история обращения от идолопоклонства, когда-то казавшегося мне единой божьей правдой на земле, к вере и упованию во Христа, истинный светоч мира, может

быть полезна для умов колеблющихся, доныне не воспринявших в полноте откровения о спасении рода человеческого через крестную смерть господина нашего, – еще я думаю, что должно мне искупить один из тяжких грехов моей юности, в том состоящий, что в других книгах я изложил буйные приключения, пережитые мною в ранние годы, и тем, может быть, соблазнил единого из малых, ибо, в своем тогдашнем безумии, представлял в своих писаниях веру заблуждавшихся предков наших и служение кумирам, как нечто даже превосходящее учение святой церкви Христовой. Кроме того, самые те события, которые я хочу изобразить по мере моего умения, были и замечательны и важны, и заслуживают памяти, хотя в то же время и в высшей степени прискорбны и достойны всяческого осуждения, так как мне довелось видеть и самому быть «большой частью», – как говорит певец Энея,[2] – последнего торжества в Городе,[3] искупленном мученической смертью апостолов Петра и Павла, безумного идолослужения, попущенного Вседержителем, дабы полнее и несомненнее открылась спасительная

истина Христова учения, свет коего просвещает всех. А Промысл божий дает нам видеть свое явное вмешательство в судьбы земные не с тем, чтобы мы познанное таили под спудом, но дабы мы об нем свидетельствовали миру, поучая не видевших.

Однако, чтобы понятно было читателю, почему я действовал так, а не иначе, и чтобы ясно стало мое душевное устройство того времени, мне должно вкратце объяснить, кто я, откуда родом и как провел жизнь.

II

Если бы земные почести еще могли меня занимать, не без гордости я сказал бы, что предки нашего рода были известны еще до времен царей, потому что мы, Юнии, ведем наше происхождение от Юна, с благочестным Энеем прибывшего в Лавинийскую землю,[4] и добавил бы, что первой славой покрыл себя наш род при царях, напомнив имя Марка Юния, взявшего в замужество Тарквинию, дочь одного царя и сестру другого, того самого Марка, сын которого, называемый обычно Брутом-старшим, освободил республику от

тирана, совершив дело кровавое, за которое да будет к нему милость Небесного Отца. Впрочем, надо ли Римлянам, – а к кому другому я могу обратиться эти строки? – напоминать всем памятные имена Юниев:[5] Луция Юния Брута, одного из четырех первых трибунов народных, Децима Юния Сцеву, первого консула из нашего рода, начальника конницы при диктаторе Публии, Гая Юния Бубулька, также консуляра и начальника конницы при диктаторе Папирии, и многих других, не говоря уже о втором Бруте, грех которого еще тяжелее, нежели деяние его предка, потому что убийца Цезаря подымал руку на своего благодетеля и благодетеля всей империи, но который все же представлен нам историками, заслуживающими доверия, как человек с побуждениями самыми благородными. Все столетия древней республики и все столетия империи означены именами Юниев, так как наш род, разделившись на многие отрасли, давал Сенату и Августам и победоносных полководцев, и славных ораторов, и судей, и писателей: Юнии Бруты, Юнии Силаны, Юнии Перы, Юнии Пенны, Юнии Блезы, Юнии Гал-

лионы, Юнии Гракханы, Юнии Конги, Юнии Отоны и другие – свои имена навсегда вписали в книгу, о которой говорили прежде, что ее ведет Клио.[6] Отпрыском того же рода были и Юнии Норбаны, поселившиеся в Галлии,[7] а именно в той Аквитании,[8] которую наш знаменитый поэт Авсоний называет «улыбчивой», и в течение ряда поколений предки мои не покидали этой, недавно еще счастливой страны, первым Цесарем соединенной в одно с сердцем империи. И если даже правы недоброжелатели нашей семьи, утверждающие, что Норбаны ведут свой род от раба, отпущенного на волю одним из Юниев Силанов, все же длинный ряд восковых изображений, украшавших атрий[9] моего родного дома, свидетельствует, что мои предки, в течение почти четырех столетий, не жалея сил и дарований, служили тому, что почитали самым высоким: славе родины, и через то сделались достойными носить громкое имя, принятое ими, конечно, не без согласия тех, кому оно принадлежало.

Дед мой, носивший одно со мною имя и в памяти у меня оставшийся как добрый ста-

рец, угощавший меня лакомствами, – потому что он скончался в моем детстве, – устранился от дел общественных и посвятил себя благородному занятию сельским хозяйством, что и было понятно в те смутные времена, которые тогда переживала империя. Отец мой, Тит Юний Норбан, продолжал заботиться об наших, не слишком обширных, но достаточных имениях, расположенных близ города Лакторы,[10] гордого своей древней свободой, и, отказавшись от жизни в Бурдигалах, где остались наши родственники, поселился в тиши полей, – участь, о которой мечтал Вергилий, – лишь на зиму переезжая в ближний город, где скоро, с почетом, был избран в число декурионов.[11] Был мой отец человек нрава строгого, честности исключительной, ума ясного и пронизательного, сложением высок, строен и силен, со взором суровым, но душой – милосердый, короче говоря – истинный Римлянин, каких уже мало в наши дни, и хотя не был он просвящен духом истины и светом Христова учения, я все же надеюсь, что Судия праведный не осудит его за приверженность к верованиям предков, коих он беспре-

дельно чтит. Тем большее упование я питаю на спасение матери моей, Руфины, по своей матери из славного дома Римских Бебиев, а по отцу из достойной семьи Лугдунских Армиев, ибо мать моя, испытанная тяжкими горестями, после смерти моего отца, познала истинную веру и скончалась с именем Спасителя на устах. Оба они, и мой отец и моя мать, были люди достойные, о которых никто не скажет худого слова, и если не могли, по своему неведению, открыть мне путь к Истине, то воспитали меня в духе благочестия, доблести и честности, так что за все свои грехи, тяжесть коих сокрушает мои, уже старческие, плечи, должен на Страшном судилище нести ответ я один, как не сумевший черпать из сокровищницы добра, с детства раскрытой предо мною.

В мире и согласии жили мои родители, любя друг друга, выполняя свои обязанности пред людьми, рача о своем имуществе, вверенном им волею бога, воспитывая своих детей, как они умели лучше, и милостиво относясь к нашим многочисленным рабам и слугам, так что мне надлежало лишь следовать

примеру, бывшему у меня с первых лет пред глазами, чтобы не вовлекаться в те несчастья, которые дважды в жизни поколебали все мое существо и едва не привели меня к смерти постыдной и страшной, за коей не осталось бы мне надежды даже на неизреченное милосердие божие. Сам я, по буйству души своей, не восхотел принять этих благих уроков, и сам повел себя, в детской самонадеянности и в обольщении страстями, на край погибели, о чем ныне и хочу, со всей откровенностью, поведать тебе, о благосклонный читатель.

Я родился в календы[12] февраля, в год, когда консулами были императоры Валентиниан и Валент, и был в семье третьим ребенком, первым же был брат Люций, умерший, к великому огорчению родителей, когда мне едва минуло два года, а вторым – сестра Децима Юния, бывшая старше меня на три года, ныне уже покойная и, надеюсь, обретшая спасение, ибо скончалась она, приняв ангельский чин в одном из женских монастырей Асианы, [13] куда удалилась за своим вторым мужем. Так как рано я остался единственным сыном в семье и будущим представителем рода Юниев Норбанов, то на мое воспитание было обращено особое внимание. Отец, выступавший редко как оратор и никогда не желавший стать писателем, был, однако, человек весьма просвещенный, глубоко усвоивший ту мудрость, какую можно воспринять без содействия благодати божией из книг великих поэтов и философов Греции и Рима, и большую часть своего досуга посвящавший чтению, преимущественно склоняясь к учению

древних стоиков и особенно любя творения философа Сенеки. Посему отец сумел выбрать для меня лучших учителей, каких только можно было найти в нашем городе, и сам, своими беседами и поучениями, много помог развитию моего ума.

После того, как я научился дома чтению и письму, меня послали зимой в школу начального учителя, доброго старика Мессия, преподавшего мне начатки математики и других наук. Потом перешел я в школу грамматика [14] Патерна, славившегося в нашей местности, который действительно умел прививать своим ученикам, как опытный садовник – деревьям-дичкам, и любовь к знанию, и нужные сведения из геометрии, истории, землепознания, наук естественных и искусств. Единственный недостаток его, что он был драчлив, и мне самому случалось получать жестокие удары ферулой по ладоням, хотя я учился хорошо и за свои сочинения не раз получал в награду книги. Еще после того, отец пожелал, чтобы я, раньше, чем ехать к кому-либо из реторов, учился еще у лакторского грамматика Агапита, грека по рождению, но

Римлянина по языку и по духу, почитавшего себя очень ученым и похвалявшегося, что он ни в чем не уступает реторам. Агапит в самом деле знал многое, но уроки его вряд ли были полезны для всех его слушателей, так как он постоянно отвлекался в область чистой реторики и нам, мальчикам, всего охотнее толковал творения великих поэтов и ораторов или развивал перед нами учения философов. Но мне, по счастью, были даны от господ бога хорошие способности и умение все схватывать и понимать быстро, так что за те полтора года, что я посещал Агапита, я все же успел научиться у него многому и, – хотя позднее не закончил вполне образования в реторской школе, по праву уже не мог почитать себя невеждою. Впрочем, способствовало тому и то обстоятельство, что в нашем деревенском доме была большая библиотека, которую я, будучи любознателен и рано пристрастившись к чтению, прочел едва ли не всю.

Впрочем, пусть читатель не подумает, что все мое детство было посвящено учению и что в ранние годы меня ничто, кроме книг, не занимало. Напротив того, я был ребенком

скорее шаловливым, летом неустанно упражнялся и в верховой езде, и в охоте, и в рыбной ловле, в игре в трох,[15] в кубарь и в треугольник, умел быстро бегать, ставить силки для птиц, владеть самострелом и домой нередко возвращался с синяками, полученными мною от падения или даже в кулачном бою со сверстниками. Отец смотрел на мои проказы снисходительно, потому что силу тела почитал наравне с силой ума, и останавливал мою мать, когда она начинала попрекать меня словами: «Женщины этого не понимают». Однако столь же рано предался я проказам иного рода, о которых ныне должен говорить со стыдом, но о которых не хочу умалчивать, так как решил писать здесь о себе всю правду: я разумею раннее мое увлечение женскими прелестями. Мне все говорили, что я был мальчик красивый, и позднее женщины не раз меня сравнивали, по лицу и осанке, с богом Меркурием,[16] как его изображали художники, – и вот мне еще не исполнилось десяти лет, как одна из рабынь, живших у нас в доме, вечером завела меня к себе в спальню. После того много было девушек среди наших

служанок, с которыми я соединялся в недостойной связи, а в городе, учась в школе, и посещал с товарищами тех женщин, что продают свои ласки за деньги, и не всегда умел противостоять соблазнам тех мужчин, которые, в свою очередь, пленялись моей отроческой красотой. Пусть судит мои давние прегрешения господь бог, я же скажу, что такова была жизнь и всех других юношей нашего круга. И мой отец, человек нравственности строгой, от которого не могли укрыться мои похождения, не видел в них особого зла, так как и сам до конца дней легко поддавался женским обольщениям и не пропускал случая позабавиться с красивой рабыней, хотя любил мою мать истинной супружеской любовью.

К сожалению, то, что в первой юности было действительно только проказами, с годами перешло в проступки более важные. Одной из причин того было мое особое положение в нашем городе, развивавшее во мне грех гордости. Так как семья наша весьма почиталась, как в самой Лакторе, так и в окрестностях, то ко мне все относились также с почтением, как к сыну видного человека, члену

местной курии.[17] Кроме того, наше имущество, которое, быть может, и показалось бы незначительным в Риме или в Италии, представлялось для местных жителей целым богатством, отец же никогда не отказывал мне в деньгах, с самого моего раннего детства. Наконец, я всегда был впереди товарищей по успехам в школе, да не уступал им ни в силе, ни в ловкости. Таким образом я рано привык считать себя человеком выдающимся, предназначенным к чему-то высшему, и находились люди, даже пожилые, которые не стыдились поддерживать во мне такое самомнение, льстя мне ради разных своих соображений. Как бы опьяняемый лестью и постоянными удачами, я уже ни в чем не желал остаться вторым, но стремился всегда быть первым, не только в успехах по учению, но и в щедрости, в победах над женщинами, в попойках и в других, не очень невинных, забавах молодежи. В то же время и на сверстников, и даже на всех жителей нашего города я смотрел несколько свысока, почитая себя и умнее и ученее их и тяготясь тем, что моя жизнь пока протекает в безызвестности.

Неизвестно, однако, как направилась бы вся моя жизнь, если бы я сам, своим недостойным поведением, не изменил всего ее течения.[18] Дело в том, что на предложение отца остаться еще на год в Лакторе и посещать школу грамматика Агапита, прежде чем ехать к кому-либо из реторов[19] в Бурдигалы, я согласился охотно по одной особой причине. Была тогда в Бурдигалах одна матрона, из достойной семьи и замужем за достойным человеком (имени ее, однако, я здесь не назову), которая также нашла меня достаточно красивым мальчиком и, без труда возбуждая во мне влечение к себе, сделала меня своим возлюбленным. Разумеется, связь со свободной женщиной есть грех гораздо более тяжкий, нежели мимолетные связи с рабынями, но в свое оправдание я могу сказать, что эту матрону, хотя и по-юношески, но все же я любил страстно. Мне тогда казалось, что прекраснее ее нет женщины на всем круге земли и что я, разделяющий тайно ее ласки, счастливейший из смертных. Расстаться с ней было для меня столь тяжело, что я предпочел отложить на год свой переход в школу ретора,

только бы продолжить столь сладостные для меня свидания и продолжать наслаждаться своей любовью. Однако, во-первых, эти самые свидания требовали значительных расходов, чтобы подкупать рабов и рабынь, во-вторых, сама моя возлюбленная не только не отказывалась от разных моих подарков, но даже как бы выпрашивала их у меня, в-третьих, наконец, нет ничего тайного, что с течением времени не делалось бы явным, и скоро появились лица, которые стали мне угрожать, что раскроют наши отношения пред мужем матроны, и требовать с меня денег за молчание. По этим причинам, а также потому, что я не покидал своей разгульной жизни, мне стало не хватать сумм, посылаемых мне отцом (который ту зиму провел в деревне), и пришлось прибегнуть к помощи ростовщиков, охотно согласившихся ссужать деньги богатому наследнику. День за днем я стал запутываться в своих денежных отношениях и к весне оказался обремененным долгами, весьма значительными для юноши моего возраста.

Внезапно я был вызван отцом в деревню, где он, объявив мне, что ему все известно, по-

казал мне мои обязательства заимодавцам оплаченными и, с своей обычной решительностью, приказал мне немедленно собираться в дорогу. Напрасны были мое позднее раскаяние и слезы и все клятвы, которые я давал исправиться, и все доводы, которые я приводил, – отец подтвердил, с неумолимостью, что не только я не вернусь более в Лактору, но не поеду и в Бурдигалу, отстоящую от нее слишком недалеко: он решил отправить меня в Рим, чтобы там, в стороне от прежних товарищей и от окружавших меня недостойных людей, я, продолжая свое учение, постарался бы начать новую жизнь. Так велико было желание отца удалить меня из нашей местности, что он едва согласился не отсылать меня в ту же самую ночь, а отложить мой отъезд на три дня. От этого решения отец уже не отступил, несмотря на то, что к моим просьбам присоединила свои просьбы и свои слезы моя мать, которой страшно было отпускать меня одного в далекий путь и в громадную столицу империи. Я только успел кое-как собрать свои вещи и отправить тайно, с верным человеком отчаянное письмо своей возлюбленной, как

на утро третьего дня, по приезде в деревню, уже должен был покинуть родной дом, направляясь, в сопровождении двух старых домашних рабов, по дороге в Массилию.[20] Мать рыдала, провожая меня, отец сказал, как напутствие, несколько суровых слов, и я покинул наше поместье, почти как изгнанник, посылаемый в далекую ссылку.

IV

Было мне тогда восемнадцать лет. Я буду откровенен, если скажу, что в душе моей в те дни боролись чувства самые разнообразные. С одной стороны, меня угнетал стыд, после того как мое недостойное поведение было разоблачено и отец как бы отослал меня от себя; с другой – меня мучило и сознание, что я надолго расстаюсь с той, которую тогда я искренно любил, и что она мое послушание посчитет недостатком любви к ней. В то же время, однако, мысль, что я скоро увижу Город и буду жить в нем, невольно наполняла меня тайной радостью. Уже давно меня томило, что я не мог проявить своих дарований на сцене более обширной, нежели наш маленький го-

родок, и теперь мне представлялось, что в древней столице мира меня ждут не только неизведанные удовольствия, но и возможность обратить на себя всеобщее внимание. Конечно, то были детские мечты, но надо помнить, чем представлялся Рим для далекого провинциала, тот самый Рим, о котором он читал во всех книгах и рассказы о великолепии которого слышал изо всех уст: средоточием вселенной, мировой ареной состязаний, победитель на которой сразу становится известен во всех пределах земного круга, городом, который один имеет силу сделать человека великим и славным. Как бы то ни было, за время нашего пути до Массилии я то предавался мрачному отчаянию, то против воли тешился несбыточными надеждами и готов был думать, что все в моей жизни произошло к лучшему, по вмешательству какого-то благосклонного ко мне божества.

В Массилии я провел несколько недель в ожидании подходящего корабля. При этом насладиться удовольствиями большого приморского города в полной мере мне не пришлось, так как приехавшие со мной рабы, исполняя

приказания отца, почти ни на шаг не отпустили меня одного. Напрасно я отдавал им приказания, как хозяин, и всячески грозил им: неподкупно служа своему господину, они оставались непреклонны, а так как именно в их руках были назначенные для меня деньги, то мне оставалось только подчиняться, негодую, такой постыдной опеке. Лишь после того, как корабль, который должен был отвезти меня в Италию, был совершенно готов к отплытию, верные служители, проводив меня на судно, вручили мне проездную тессеру,[21] отдали кошелек с деньгами (из которых, как мне известно, не утаили ни асса[22]) и, став на колени, стали просить у меня прощения за строгое исполнение приказаний моего отца. Я, разумеется, уже не мог на них сердиться, передал им написанные мною письма к отцу, к матери и к сестре и даже, на прощание, дал поцеловать свою руку. Когда лодка с этими двумя моими дядьками отчалила от нашего корабля, на котором гребцы уже были рассажены рядами и паруса наполовину подняты, я почувствовал, что порвалась моя связь с родным домом, что я остался свободным, но

и беззащитно одиноким. Признаюсь, что, несмотря на радость, какую я испытывал при мысли, что плыву в Италию, слезы покатались по моим щекам, и то было, конечно, горестное предчувствие всех бед, ожидавших меня в Золотом Риме.

Плавание мое было вполне благополучно, и через несколько дней мы пристали в Римском Порте. Оттуда в наемной реде я проехал в Город и прямо явился в дом своего дяди по матери, сенатора Авла Бебия Тибуртина, к которому имел коммендационное письмо[23] и у которого, по распоряжению отца, и должен был жить. Встретил меня дядя весьма приветливо и, хотя у этого человека, о котором мне еще придется говорить, было много слабостей, я должен здесь засвидетельствовать, что ко мне он всегда относился с истинно отеческой заботливостью. Добрым словом должен я помянуть и вторую жену его Меланию, женщину, также не лишенную недостатков, но уже и тогда бывшую последовательницей веры истинной, к откровениям которой она тщетно призывала мою слабую и слишком юную душу. Наконец, слезы выступают на мо-

их старческих глазах, когда я вспоминаю их дочь, маленькую Намию, которая сразу полюбила меня со всей нежностью, хотя, может быть, и более страстно, чем та, с какой позволено любить своего родственника. Во всяком случае, в доме сенатора я мог бы жить как в родной семье и, пользуясь этим тихим кровом, мог бы посвятить свое время учению и воспитанию своей души на пользу близким и на честь империи, если бы собственные мои слабости не увлекли меня быстро на совершенно другую, пагубную и темную дорогу.

Чтобы понятно было все дальнейшее, случившееся со мной, должен я объяснить, какие мысли всего более занимали меня в то время. Во-первых, как-то свойственно молодости, я мечтал о каких-нибудь великих подвигах, которые дадут мне возможность проявить свои дарования, казавшиеся мне исключительными, и прославят мое имя по всей земле. Во-вторых, я был полон воспоминаниями о древней славе Рима и, в своем тогдашнем ослеплении, приписывал его былое величие служению богам предков, а его упадок – отступничеству от веры в Олимпийцев.[24] Что таковы

были мои взгляды, не удивительно, ибо именно такие рассуждения слышал я постоянно и дома и в школе, причем и мой отец, и мои учителя равно относились с безумной ненавистью к истинной вере, считая, что все бедствия империи начались с тех дней, когда император Константин заменил знаком Креста изображение Геркулеса[25] на военных знаменах. И вот обе эти основные мысли моей души сливались в одну, и мне все представлялось, что я призван именно к тому, чтобы способствовать восстановлению веры предков, а через то прежнего величия всей империи, и прежде всего древнего Рима. Стыдно мне теперь вспоминать, сколько нелепых мечтаний возникало в моей горячей голове под влиянием таких мыслей, сколько неосуществимых планов я строил и как часто целыми часами тешил себя, выдумывая разные события, изменяющие весь строй жизни в империи, в которых, разумеется, сам я играл первенствующую роль. Остается мне только добавить, что гибельные эти мои мечты, словно огонь от масла, еще более разгорались под влиянием бесед с моим дядею, который

также был предан древней Римской вере, с таким же осуждением смотрел на новый порядок дел и так же, по-юношески, несмотря на свой почтенный возраст, жалел о жизни прошлых веков, их обычаях и установлениях.

Теперь понятно будет, какой неодолимый соблазн встал пред моим восемнадцатилетним сердцем, когда в доме моего дяди я повстречал прекрасную женщину, разделяющую те же самые взгляды и всю свою жизнь, по-видимому, посвятившую на осуществление тех же замыслов, какими тешился и я. То была падчерица сенатора, дочь его жены от ее первого брака, носившая красивое имя Гесперии и воплощавшая в себе все прелести и все коварство Египетской Клеопатры. Много еще мне придется говорить об этой женщине, но сейчас, когда ее имя впервые я пишу на этих листах, я не могу удержать в своей груди такого волнения, которое не приличествует ни моему положению, ни моим летам. Ах, сколько раз за те долгие годы, что я провел в строгом уединении нашей святой обители, образ Гесперии опять восставал предо мной и в часы ночного бдения, и даже в часы общей

молитвы! Боже! Будь милостив ко мне, грешному, вспомяни всю ревность моих раскаяний, всю искренность моих исповедей пред духовником, всю мою готовность налагать на себя суровые эпитимии! Но, воистину, не слишком ли жестокое искушение поставил ты, праведный господи, пред нами, грешными людьми, послав в мир такую красоту, воплощенную в женском теле! Не знаю, не богохульство ли днесь произносят мои уста, но, боже сильный, будь милосерд к нам, слабым, обольщенным совершенством твоего создания! А ныне, в этой одинокой келье, где день за днем ожидаю я часа, когда ты воззовешь меня на свой суд, дай мне силы бестрепетно вести далее мой стиль и продолжать мое правдивое повествование во славу твою, а не на соблазн другим!

Нет, не буду я здесь описывать, сколь прекрасна была Гесперия, сколь обольстительны были все ее движения, каждый малейший изгиб ее тела! Никакая статуя древних прославленных ваятелей не сохранила нам воспоминаний о столь совершенной красоте. Добавлю только, что столь же обольстительна была и

душа этой женщины, столь же соблазна уме-
ла она влить и в свой разговор, и во все свои
поступки, так что следящим за ней казалось,
что все делаемое ею – прекрасно! Достаточно
сказать, что уже после первой встречи я, юно-
ша, с детства привыкший, чтобы мной любо-
вались женщины, почувствовал себя наве-
гда рабом Гесперии, ее покорным служите-
лем, по одному ее слову готовым идти на лю-
бое дело или на любое преступление. С такой
силой возгорелась во мне тогда любовь к Гес-
перии, что я уже почитал ее равной бессмерт-
ным богиням, согласен был поклоняться ей и
приносить жертвы, как одной из небожитель-
ниц. И уже ничто с тех пор не могло исцелить
в моей груди этой страстной раны, которая и
сегодня, под моим монашеским одеянием
продолжает болеть и сочиться кровью... Бо-
же, милостив буди ко мне, грешному!

Гесперия опытным глазом красавицы, ко-
торой молва приписывала многих и многих
возлюбленных, не могла не заметить, что со-
вершается с таким наивным юношей, как я.
Она тотчас решила воспользоваться моей ис-
ступленной страстью и немедленно прибли-

зила меня к себе. Но в этом приближении таилась для меня другая опасность, так как Гесперия стояла в те дни во главе одного тайного заговора (одного из тех, которые так часто потрясали за последние годы нашу несчастную империю), цель у которого была свергнуть императора Грациана и возвести на Диоклецианов трон кого-либо другого, враждебного истинной вере и приверженного к вере предков. Участвовать в этом заговоре, объединявшем в своих рядах немало людей, особенно выдающихся, сенаторов, знаменитых писателей, прославленных ораторов, и предложила мне Гесперия. Можно представить, что случилось со мной при таком предложении! Я делался через то приближенным Гесперии, которую уже любил со всем безумием юности, и в то же время входил в круг знаменитейших людей нашего времени, чтобы служить тому делу, которое отвечало самым заветным моим мечтаниям! Без раздумия кинулся я на зов Гесперии, как кидаются воины в самый разгар боя по призыву любимого начальника, готовые принять вражье копьё прямо в сердце и с хвалой на устах встретить страшную

смерть. Я объявил Гесперии под страшной клятвой, что отдаю себя в ее власть, как простую вещь, и этой своей клятвы я не нарушил.

Долго было бы рассказывать все, что я пережил после того, но важно сказать, что никакие, самые жестокие, испытания не могли ослабить во мне любви к Гесперии. Она явно смеялась надо мной, как над наивным мальчиком, едва ли не на моих глазах избирала себе новых возлюбленных, мне же только позволяя целовать свои руки, – я продолжал любить ее. Она приказала мне ехать в Медиолан [26] и там свершить страшное преступление: поднять руку на избранника божия, убить императора; и я, зная почти наверное, что меня ждет мучительная казнь, радостно повиновался и еще благословлял посылавшую меня. Захваченный с кинжалом в руках на лестнице священного дворца, я много недель томился в смрадной подземной тюрьме и в эти дни испытаний понял, что мною действительно распоряжаются, как не имеющей цены вещью; но довольно было после того нескольких ласковых слов, впервые сказан-

ных мне Гесперией, чтобы я снова весь предался ее неодолимой власти. По ее приказанию я бросил учение, ради которого прибыл в Город, бросил гостеприимный дом Бебия Тибуртина, поступил наперекор воле отца и поехал за Гесперией в Галлию, к тирану Максиму, в тот год только что поднявшему свой мятеж. И в пути, покорно снося, что Гесперия то ласкала меня, как забавную игрушку, то отталкивала безжалостно и шла к другим мужчинам, я продолжал ее любить столь же слепо и столь же беспредельно.

Но всего этого мало. Проникнув в доверие Максима, этого usurпатора, под тиранией которого несколько лет стонала наша бедная страна, Гесперия задумала стать в его лице императрицей, ибо высшая власть всегда была единственной целью, к которой она истинно стремилась. Но так как Максим чужд был наших мечтаний о восстановлении древней веры Римлян и, при всех своих неистовствах и пороках, всегда прикрывал свою тиранию покровом святой церкви, то эта женщина, для которой, в сущности, не было ничего святого, не колеблясь, отреклась от того дела, которо-

му притворно служила всю свою жизнь, и кощунственно объявила себя христианкой. Она надела себе на грудь крест, символ искупительной жертвы Христовой, стала посещать христианские богослужения и лицемерными устами повторяла слова святых молитв, покупая ценой такой измены себе сомнительную честь именоваться наложницей лжеимператора. Все прежние друзья и сторонники Гесперии, после такого ее поступка, с негодованием от нее отвернулись, но я, – я снес и это, ибо такова была сила моей любви к ней, что я предпочитал подвергнуться последнему позору, но не разлучаться с ней. Я дошел до того, что поступил на службу к Максиму, зная, что и мой отец, и все благомыслящие люди считают его тираном, убийцей законного императора, врагом отечества, разбойником, захватившим высшую власть без права. Я служил государю, которого сам презирал, и я был счастлив тем, что живу близ Гесперии, изредка вижу ее, хотя знал, что она разделяет ложе Максима, не стесняясь притом обманывать его с другими молодыми людьми, которым она оказывала большее внимание, нежели

мне. Нет такого унижения, нет такого падения, до которых я в те месяцы не доходил бы, все ради единой надежды: хотя бы раз на дню вновь увидеть Гесперию и хотя бы раз в неделю сказать с ней несколько слов.

Наступило, однако, такое время, когда я, наконец, оказался не в силах сносить далее свой позор. В порыве крайнего безумия и отчаянья я бросился на Гесперию с клинком в руке, думая одним ударом освободить и себя от мучительного рабства, и весь мир от существа гибельного, как сама Горгона.[27] Милосердный бог отвел тогда мою руку, потому ли, что, по благодати своей, хотел избавить мою душу от тяжести смертного греха убийства, или потому, чтобы сохранить эту женщину для испытания и искушения еще многих других и меня опять в том числе. Но, после моего покушения, Гесперия, которой я давно стал не нужен, выгнала меня вон, как лишнюю собаку, и приказала мне немедленно покинуть двор Максима. Мне не оставалось другого выбора, как или быть обвиненным в покушении на убийство и кончить жизнь в руках палача, или подчиниться суровому приказу, и я дей-

ствительно бежал, бежал в единственное пристанище, которое еще было у меня на земле: в родной дом к отцу! И, стыдно сознаться, но, покидая дворец лжеимператора, я исполнен был ужасом и отчаяньем не потому, что должен буду явиться покрытый позором к своему отцу, гордость и упование которого я так жестоко оскорбил своим поведением, и не потому, что я так безрассудно растратил свои юношеские годы в безумстве исступленной страсти и в преступлениях всякого рода, тогда как мог бы употребить их на честное воспитание своего духа и ума; нет, меня мучила и ужасала в те дни одна мысль, – что я, может быть, навсегда расстаюсь с Гесперией.

Единственное сравнение, которое может дать понятие об том состоянии, в каком я находился, подъезжая к родной земле, к нашему родному поместью, это – образ того блудного сына, о котором повествует нам святое Писание. Как оный расточитель, я говорил себе, что недостойн войти в круг семьи, не смею увидеть чистые глаза сестры, скорбные – матери и суровые – отца, но что, может быть, и мне, в этом обширном доме, где живет так много рабов, найдется угол, чтобы в нем мог я провести жалкие остатки своей жизни. Тогда казалось мне, что жизнь моя разбита, как бывает разбит бурей корабль, уже более неспособный к плаванию и обреченный догнить где-нибудь на пустом берегу. Я не мечтал более ни о счастье, ни о деятельности, ни об учении, но только хотел какого-нибудь покоя, чтобы немного забыть ту мучительную боль, которой страдала вся моя душа после всего того ужасного, что я пережил со дня прибытия в Рим, за два с половиною года. С такими мыслями, похожий на ту

полураздавленную змею, о которой где-то говорит Вергилий, добрался я до отчего дома, незамеченным вошел в атрий и там пал ниц у домашнего ларария,[28] как безвестный странник.

Я не буду здесь подробно рассказывать мучительных мгновений моей первой встречи с родителями. Скажу только, что отец вполне остался верен себе и, подобно тому древнему Юнию, который бестрепетно осудил собственного сына на казнь, не сказал мне ни одного приветственного слова. Теперь я знаю, что он горячо любил меня и что в глубине души был уже рад тому, что я возвратился живым, но тогда он удовольствовался жестоким указанием на тот позор, который нанес я всему нашему славному роду, и пренебрежительным позволением жить под родной кровлей. Скавав эти несколько слов, отец тотчас отвернулся от меня и вышел из атрия, – как знать? может быть, затем, чтобы в своем табличке[29] плакать обо мне. Но на меня тогда, хотя я и не ждал лучшего, эта суровость отца произвела впечатление сильнейшее: она отняла у меня последнюю веру в себя, и, помню, едва отец

скрылся, я опять повалился ничком на плиты пола и стал рыдать, как обреченный на смерть. Разумеется, иначе отнеслась ко мне мать, которая всячески пыталась меня успокоить и утешить, которая плакала вместе со мной и ласкала меня вновь, как в годы, когда я был малым ребенком, но я почти не чувствовал этих утешений и ласк, так как, потрясенный, едва сознавал, что делается вокруг. Как бы сон, помню, что тотчас рабы отвели меня в ванну и одели в новую одежду, но я после того не захотел выйти к вечернему столу, но удалился в свою комнату, закрыл дверь, упал на ложе и предался мрачному отчаянью, уже сожалея, что решился появиться в этом доме. Мать тогда стучалась ко мне, конечно, затем, чтобы опять меня успокаивать и утешать, но я сделал вид, что не слышу.

Может быть, счастием для меня оказалось то, что в ту же ночь я опасно захворал. Не знаю, простудился ли я в пути, или просто потрясения последних недель жизни так на меня подействовали, но только сделалась со мной огненная лихорадка, и уже утром я не в силах был подняться с постели. Скоро затем

начался у меня бред, и я совершенно потерял сознание всего происходящего, смутно лишь вспоминая, что я нахожусь в родном доме. Десять дней я находился в таком состоянии, несмотря на все усилия призванных медиков, десять дней я лежал в жестоком жару, смешивая образы бреда с действительностью, принимая мать, ухаживавшую за мною, за Гесперию, и сестру – за умершую девочку Намию, [30] выкрикивая бессмысленные слова и все порываясь бежать в лес и в горы, чтобы там укрыть свой позор. Заботы матери и ученое старание медиков вернули меня к жизни, и эта тяжкая болезнь явилась как бы некоторым искуплением за все содеянное мною. Более никто, в том числе и отец, уже не напоминал мне о моих постыдных проступках, и, выздоравливая, я медленно стал входить в обычный строй жизни в нашем доме, как если бы его никогда и не покидал.

Но сам я не забыл всего пережитого. Образы недавнего прошлого неотступно стояли предо мною и днем, в мыслях, и ночью, в видениях, посылаемых Морфеем. Я не забыл Гесперии и ее красоты, и если при других я имел

силы казаться спокойным, то, оставаясь один, я часами рыдал при мысли, что, может быть, в это самое время она ласкает кого-нибудь другого, отвергнув меня, пренебрегая мною, презирая меня. В родной семье, окруженный заботливыми попечениями матери, во всем видя проявления любви ко мне моей сестры, имея в своем распоряжении послушных рабов, которые знали меня с детства, я томился от того, что не могу увидеть Гесперию, еще раз взглянуть в ее удивительные глаза, услышать ее музыкальный голос. И, сознаюсь, часто мне стоило большого усилия удержаться от поступка безумного: от того, чтобы не покинуть тайно отчего дома, не убежать, как ночному вору, по дороге в отдаленные Треверы[31] – с одной надеждой: там, замешавшись в толпе, взглянуть на Гесперию, когда она, походкой царицы, будет проходить по улице в церковь. Я никому не говорил о своих мучениях, но они составляли и всю мою жизнь, и все мое счастье; если бы отняли у меня тогда и эти мечты, кажется, я отказался бы и от самой жизни.

Разумеется, в те дни я не думал ни о рабо-

те, ни о том, чтобы возобновить свое прерванное учение. Я проводил день за днем, как тяжелую обязанность, стараясь как можно меньше попадаться другим на глаза и как можно меньше говорить с людьми. На ласки матери я отвечал почтительно, но спешил от них освободиться; сестра понемногу стала меня бояться; и даже когда отец пытался вызвать меня на откровенность, я отвечал ему уклончиво и искал случая от него удалиться. Диким и нелюдимым я жил в родном доме, прячась в своей комнате, когда нас посещали соседи, бродя по окрестностям в тех местах, где нельзя было встретить людей, просиживая иногда молча целые дни, живя горестной мечтой в прошлом и как бы не замечая настоящего. Постепенно все привыкли видеть меня таким, и уже никто не делал попыток меня развлечь или вызвать на моих губах улыбку.

Когда настала зима и отец со всей семьей поехал в Лактору, куда призывали его дела по курии, я попросил позволения остаться в деревне, чтобы наблюдать за хозяйством. То было, конечно, предлогом, так как на деле я просто не хотел вновь увидеть своих прежних со-

товарищей и знакомых, да и вообще не хотел возвращаться в круг людей. Отец, не споря, согласился на мою просьбу, и я остался на всю зиму один в опустевшем доме. Нужно ли говорить, что хозяйством я почти не занимался? Целые дни я проводил в библиотеке, перечитывая своих любимых поэтов, причем все песни любви Кальва или Катулла, Овидия или Тибулла, даже Горация относил к себе, и все, что трагики говорят о страсти и ее мучениях, также применял к обстоятельствам своей жизни. Часто я писал безумные письма к Гесперии, умоляя ее о позволении вернуться к ней, но потом с горькой решимостью сам ломал исписанные дощечки и бросал их в огонь. Или сочинял элегии о той же Гесперии, но лишь затем, чтобы тотчас же стереть слабые буквы, выведенные на мягком воске. Или, наконец, простертый неподвижно на ложе, обдумывал способы самоубийства, колеблясь, что лучше избрать: открыть ли себе, по древнему обычаю предков, жилы в теплой ванне, как то сделал мой злополучный друг Ремигий, или оплести вокруг шеи прочную веревку, как другой мой Римский знакомец,

не менее злополучный Юлианий. Так проводил я день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, всю долгую зиму. Потом принялся я за описание всего пережитого, исписал много листов, что составило четыре больших книги. Не знаю, где это пагубное писание, еще полное всей страстностью.

Нет, однако, ничего в мире, что не имело бы своего конца, и как ни глубоко было мое отчаянье, но и оно не могло длиться бесконечно у юноши, которому не исполнилось еще полных двадцати двух лет. Когда весной возвратилась в свой деревенский дом наша семья, она нашла меня одичавшим, как лесного зверя, с отросшей бородой, с бледным лицом, еще более жалкого, чем в несчастный день моего возвращения. Тогда отец, сжалившись надо мной, решил возвратить меня к жизни. Как человек умный и проницательный, он не стал докучать мне ненужными советами и поучениями, понимая, что этим путем он не достигнет ничего, а, напротив, прибег к благодетельной хитрости. Призвав меня к себе, он мне сказал, что чувствует себя стареющим, что прежние силы ему изменяют и

что я, если сознаю себя чем-либо ему обязанным, должен заменить его в большинстве работ по нашему имению. Как мог я отказать отцу в такой просьбе, когда он дружески просил меня, вместо того чтобы приказывать, на что имел все права отца и домохозяина. Я, разумеется, должен был согласиться на такое предложение, и с того дня все заботы о наших полях и наших стадах перешли ко мне. Подобно древнему Катону, отец не допускал, чтобы во главе рабов стоял один домоправитель, но хотел, чтобы сам господин во все вникал и всем распоряжался; поэтому сразу оказалось у меня много дела, особенно при моей крайней неопытности, ибо я гораздо более был осведомлен в реторике, нежели в ведении сельского хозяйства. Пришлось мне вставать рано поутру, объезжать поля и наблюдать за работами, понукать ленивых рабов и накладывать наказания на нерадивых, выслушивать доклады домоправителя, считать запасы хлеба и сена, выдавать дневные рационы людям, словом, делать все, что когда-то составляло главное занятие наших доблестных предков. Пришлось мне немало и учиться, чтобы с

достоинством исполнять свои новые обязанности, и я не раз, а многократно перечитал и книгу о земледелии славного Катона, и другие подобные сочинения, не забыв, конечно, медоречивых «Георгик» великого Мантуанца.

Расчет отца оказался верен. После нескольких месяцев упорного труда я почувствовал себя гораздо более бодрым. Не то чтобы исчезли те причины, которые наполняли мою душу одной беспредельной скорбью, но все же я вновь привык и к общению с людьми, и к разнообразным заботам. В горячие дни, когда надобно было заканчивать какую-либо работу и когда мы все с тревогой высматривали каждое облачко, то опасаясь, то с нетерпением жажда дождя, не оставалось времени для того, чтобы предаваться мрачным грезам. После утомительного трудового дня, возвращаясь вечером домой с дальнего поля, думалось лишь об одном, как бы скорее броситься в свою постель, и уже не оставалось сил для бесплодных слез, а сон был глубок и спокоен и не смущаем мучительными видениями прошлого. Здоровье мое вновь окрепло, душа не то что успокоилась, но как-то окаменела, и

я, все оставаясь суровым и нелюдимым, начал думать, что для меня еще есть место на земле, что я еще могу прожить свою жизнь не без достоинства.

Следующую зиму я уже согласился провести в Лакторе. Я был очень сдержан в отношениях с людьми, но все кругом проявляли ко мне такое предупредительное внимание, ни единым словом не намекая на мои прошлые несчастья, что мне трудно было уклониться от возобновления старых и от заключения новых знакомств. Незаметно для самого себя я начал вновь посещать людей нашего круга, бывал и на обедах, и на разных торжествах. Молодость брала свои права, и мне вновь хотелось иметь успех и в философских спорах, и в разных проявлениях ловкости и силы. Только когда до нашей отдаленной Лакторы доходили вести о событиях при дворе тирана, прежние припадки неудержной скорби вновь овладевали мною; опять образ Гесперии со всей его непобедимостью вставал передо мной, я опять укрывался от людей и проводил долгие часы в тоске и унынии. Но я уже научился владеть собою и никому не позво-

лял увидеть, какая незаживающая рана живет у меня под грудью, и только в одном отношении я оставался странным для моих соотарищей: я решительно избегал женщин, и никто не мог меня принудить участвовать в том веселом времяпрепровождении, которое обычно для юношей того возраста, в каком я тогда был.

Так установилась моя новая жизнь. Всецело посвятив себя сельскому хозяйству, которое древние называли благороднейшим делом для свободного человека, я не искал ни других занятий, ни других почестей. Лето, до поздней осени, я проводил в деревне, работая неутомимо и с любовью, причем, как говорят, сумел значительно улучшить все статьи нашего имения. Зимние месяцы я проводил большей частью в Лакторе, не стремясь в другие города и даже не желая посетить нашей местной столицы, славной Бурдигалы. С сестрой я постепенно подружился, и она охотно делилась со мной своими девичьими мечтами, но вскоре покинула наш дом, став женой видного гражданина Лакторы, Акция Проба, тоже члена городской курии; мать вызывала

у меня слезы своей неизменной любовью ко мне; отец, как бы простив мне все, был со мною ласков и говорил со мной, как с равным. В городе я пользовался уважением и, если бы захотел, несмотря на свою молодость, уже мог бы занять какую-либо почетную должность; но этого я решительно избегал. Все предвещало мне жизнь тихую и мирную, без особых радостей, но и без тягостных потрясений.

VI

В начале третьего года после моего возвращения в родительский дом я узнал ту девушку, которая впоследствии стала моей женой. У моего отца в юности был друг, уроженец нашей Лакторы, Тит Талисий, с которым он был связан узами любви и благодарности, ибо Талисий однажды оказал моему отцу услугу чрезвычайно важную. Уже много лет назад Талисий должен был переселиться на Восток, и давно до нас не доходило об нем вестей. Каково же было изумление отца, когда однажды осенним вечером прибыла в наш дом, одна, без всякого спутника, молодая де-

вушка, которая со слезами сообщила нам, что она – дочь Тита Талисия. Оказалось, что всякого рода несчастья преследовали последние годы друга моего отца: он потерял жену, двух сыновей и все свое имущество. Умирая, всеми оставленный, он завещал своей дочери ехать в далекую Аквитанию, говоря, что там она найдет Тита Юния Норбана, который заменит сироте отца. В письме, которое девушка привезла с собою, умирающий трогательно напоминал отцу об их прошлой дружбе и, с полной уверенностью, поручал ему свою дочь, не сомневаясь ни на миг, что наша семья примет ее, как родную.

Помню хорошо, что мой отец, читая это письмо, слабой рукой нацарапанное на восковых дощечках, плакал, и то были первые, да и последние слезы, которые я видел на лице этого сурового человека. Встав с кресла, на котором он сидел, отец обнял бедную странницу и тут же, торжественной клятвой, призывая в свидетели богов, поклялся, что отныне дочь его друга будет его любимейшей дочерью и что скорее он сам откажется от всего необходимого, чем допустит девушку впредь

хоть в чем-нибудь нуждаться. Тотчас одели Лидию, – так звали нашу нежданную гостью, – в лучшее платье моей сестры, и с того дня наша семья увеличилась одним членом, милой и доброй девушкой, которую все мы скоро полюбили искренно и которая всех нас полюбила такой же любовью.

Было Лидии тогда семнадцать лет. Она не была красавицей, но нет того хорошего, что я не мог бы сказать здесь об ней, и ни одного упрека я не могу ей сделать, не только потому, что сам виноват пред ней безмерно, но и потому, что то было бы нарушением истины и справедливости. Тяжелые лишения, пережитые Лидией в последние несчастные годы, сделали ее молчаливой и несколько робкой, но, когда она чувствовала себя окруженной людьми близкими, она становилась без конца привлекательной и умела говорить умно и красиво. Отец Лидии не пренебрег ее воспитанием, и она, кроме знания наших и греческих поэтов, умела играть на кифаре, вышивала золотом и вообще являла все признаки девушки из старинной и хорошей семьи. С сестрой моей, Децимой Юнией, скоро Лидия

сдружилась тесно, и они стали неразлучны, как если бы всю жизнь провели под одной кровлей и были дочерьми одной матери. Доброта же и кротость Лидии расположили к ней всех наших рабов, и они тайно называли ее Беатой.[32]

Что касается меня, то я вначале сторонился Лидии, как вообще сторонился всех людей в ту пору. Но ее, как я об том узнал после, с самого первого дня привлекло к себе мое печальное лицо. Узнав, в общих чертах, об моей скорбной судьбе, она стала видеть во мне человека несчастного, преследуемого Роком, и ее доброе сердце исполнилось ко мне сожаления, перешедшего затем в чувство более нежное. Понемногу и я не мог уклониться от сближения с девушкой, жившей в нашем доме, с которой я встречался ежедневно и которая всех привлекала своей обходительностью, услужливостью и юной прелестью. Дошло до того, что родные стали замечать явное расположение Лидии ко мне, и моя сестра прямо спросила меня, что я думаю о женитьбе на ней. Мне до того дня такая мысль не приходила в голову, и, услышав подобное

предложение, я был смущен и даже глубоко поражен. Дело в том, что все еще образ прекрасной Гесперии жил в моей душе. Я ответил сестре, что не хочу связывать судьбы достойной молодой девушки со своей несчастной судьбой, и с тех пор стал избегать Лидии, что она переносила со своей обычной покорностью и кротостью.

Между тем всего через год после прибытия к нам Лидии отец внезапно заболел какой-то сильной болезнью. Медикам так и не удалось определить его недуга, который был тем более странен, что отец отличался всегда здоровьем исключительным и что все в нашем роде всегда жили до преклонной старости. Однако, несмотря на все утешения призванных врачей, отец почувствовал сам, что ему от своей болезни уже не оправиться. Тогда, как истинный Римлянин, он поспешил привести в порядок все свои дела, пересмотрел свое завещание и, наконец, призвал к себе меня. Мне он сказал, что умирает и что я, таким образом, остаюсь главою семьи и единственным представителем рода Юниев Норбанов. Сделав мне ряд мудрых замечаний и указав

мне на мои обязанности перед матерью и сестрой, отец затем прямо сказал, что спокойным умрет лишь в том случае, если я дам ему обещание взять женою Лидию.

– Этим, – говорил он, – ты искупишь свои вины предо мной, которого много огорчал. Отец Лидии некогда оказал мне великую услугу: спас более, чем мою жизнь – мою честь. Пусть же мой сын оплатит за это тем, что примет на себя заботы об его дочери. Кроме того, я уверен, что и для тебя этот брак будет спасителен и благодетелен. Лидия – девушка достойная и скромная, которая сумеет уберечь тебя в будущем от тех неразумных поступков, способность к которым ты проявил в своей ранней юности. Исполни мое пожелание, Децим, и верь, что умирающим боги дают видеть дальше и лучше, нежели видят те, кто еще далеки от смерти.

Что я мог возразить своему дорогому отцу в эти торжественные миги, стоя у его смертного одра? И как знать, не провидел ли он будущего действительно лучше нас, так как, несмотря на все прискорбные события, к которым меня привела собственная необуз-

данность, не через этот ли брак пришел я, наконец, к познанию истинной правды? Что бы там ни было, но я, воздев руки, поклялся богами, что последнюю волю отца исполню, и даже прибавил такие клятвы, которые после мною сдержаны не были. Тотчас в комнату умирающего были призваны другие члены семьи, и тут же, у последнего ложа отца, мы с Лидией были торжественно обручены, как жених и невеста; Лидия тогда побледнела от страха и счастья, но сестра моя была, кажется, всех счастливее в этот час, радостно поздравляла нас обоих и твердила, что первая предрекла этот союз.

Отец сильно желал, чтобы наш брак состоялся еще при его жизни, и всячески торопил нас, говоря, что после него закроет глаза спокойно. Однако через несколько дней отцу стало много хуже. Напрасны были все усилия искуснейших медиков нашей местности. Так же как не помогли и жертвы, которые мы, в своем тогдашнем заблуждении, приносили на алтари лакторских храмов: ни греческая наука, ни Эскулапий и другие боги не помогли. Внезапно отец потерял сознание и после дол-

гой, трехдневной борьбы со смертью скончался, к великому горю не только его близких, но всего города, который едва ли не весь пошел провожать к погребальному костру своего любимейшего декуриона. Мне говорили, что и в самом Риме, узнав, жалели о кончине человека известного и достойного.

После того как прошли месяцы, в которые всякое празднество в нашем доме было бы неуместно, я исполнил данное отцу обещание, и Лидия стала моей женой. Наш брак был совершен с соблюдением всех обычаев предков, и Лидия, сев на шкуру овцы, принесенной в жертву, одетая впервые в платье матроны, с шафрановой паллой[33] на плечах, казалась мне в тот день воистину той женщиной, которая должна принести мне счастье в жизни. Когда мы вернулись в наш дом, предшествуемые носилками, на которых несли статуи Югатина,[34] Домидука,[35] Домиция[36] и Мантурны,[37] когда нас, по древнему обряду, осыпали мукой, когда прозвучал священный ответ: «Где ты, Гай, там и я буду, Гайя», – я поверил, что начинается для меня новая жизнь и что все мое буйное прошлое

отныне должно быть забыто, как дурной сон, сменившийся ясным днем.

Мне казалось даже, что все благоприятствует моим ожиданиям и что та Фортуна, которую наши предки изображали с рогом, наполненным всяческими благами, намерена их рассыпать над четой молодых супругов. Став главою семьи, я тем усерднее предался заботам о нашем поместье, и скоро оно стало предметом восхищения и зависти для всех соседей. Жена меня любила страстно и через год родила мне сына, которого мы назвали, в память незабвенного моего отца, Титом, а еще спустя некоторое время – дочь, которая получила имя своей матери, Лидии. Граждане Лакторы уговорили меня, несмотря на мою молодость, принять участие в делах правления городом, и я уже не сомневался, что буду избран в состав декурионов. Мать мою, которую я столько огорчал в юности, я мог теперь окружить полным спокойствием и новым достатком, так что она, успокоившись после тяжелой потери любимого мужа, проводила дни в почете и довольстве. Наконец, радовала меня и судьба моей сестры, Децимы Юнии,

которая жила покойно и счастливо подле своего благородного мужа, воспитывая двух детей, родившихся у нее, моих племянников, — мальчика Децима и девочку Акцию.

Однако обманчиво и непрочно земное счастье, как часто говорят поэты. К тому же было одно обстоятельство, которое с самого начала, как некий тайный яд, разъедало и мое спокойствие, и мои надежды. Исполняя волю отца и называя своей женой Лидию, я надеялся, что прекрасные достоинства этой девушки не только заставят меня ее уважать, но и пробудят в моем сердце любовь к матери моих детей. И ничем старался я не показать Лидии, что связан с нею лишь чистой дружбой и что нет во мне того огня, который, по сказаниям поэтов, вызывают вонзившиеся стрелы крылатого Амура. Но велика над человеком власть ослепляющей его страсти, и с первых дней нашей общей жизни я понял, что розы супружества будут для меня окружены шипами воспоминаний. В тот самый вечер, когда, вернувшись домой, осыпанные мукой, приняв поздравления близких, мы с Лидией остались впервые наедине в кубикуле[38] моего

отца, – комнате, которая, по настоянию моей матери, стала после моего брака нашей супружеской спальней, – узнал я страшное будущее, готовящееся мне: образ покойной, <как я тогда полагал,> Гесперии <неотступна был предо мной>.

Помню я робкое и счастливое лицо моей новобрачной жены, помню ее несмелые движения и тот нежный шепот, каким она произносила обычные девичьи просьбы, но помню и ту внезапную тоску, которая вдруг охватила мою смущенную душу. Уже много месяцев не вспоминался мне ни образ, ни имя далекой Гесперии, и на самом пороге своего дома, возвращаясь после свадебного обряда, я мог думать, что все прошлое погасло навсегда. И вдруг, в обстановке брачной комнаты, в час, когда меня ожидали первые ласки прекрасной и любящей меня девушки, бывшее томление разлилось по моей душе, как при урочном приливе разливаются воды океана по прибрежному песку. Вдруг мне стало ясно, что та Гесперия, которой я не видел уже столько лет, лживость и коварство которой вполне постиг, на которую сам поднимал ко-

гда-то кинжал, – остается для меня единственной женщиной, влекущей к себе мое сердце и мои еще юношеские силы. Так явно представало предо мною словно из воска сделанное божественно-прекрасное лицо Гесперии, что ужас охватил меня, как пред привидением, и до сих пор я думаю, не было ли в этом вмешательства неких волшебных чар.

Поспешно я погасил все лампы и, в полной темноте прижав к своей груди трепетную девушку Лидию, старался волей преодолеть Гекатовы[39] наваждения. Но чем теснее сжимал я в объятиях другое тело, тем неотступнее представлялось мне, каким блаженством было бы для меня в это мгновение обнимать тело незабвенной Гесперии. Было ли то искушение Врага человеческого, или сам я был столь недостоин чистого счастья, только та радость, которую, по мнению всех, должен я был вкусить в первую ночь своего брака, обратилась для меня в горечь, подобную полыни. И хотя упорством я в конце свою слабость победил, но если бы кто-нибудь внезапно зажег в нашем кубике лампы, он увидел бы, что мое лицо, после страстных ласк, иска-

жено страданием и по щекам струятся слезы.

Так и повелось с тех пор, что, ценя и уважая свою жену, которая достойна была уважения и любви, я никогда не мог преодолеть тягостного чувства, когда оставался с нею наедине в нашей супружеской спальне. Каждый раз, когда я целовал, как муж, покорные губы жены и обнимал ее, мучительная тоска начинала клещами пытаться мое сердце, и мне казалось, что я поступаю недостойно, отдавая свои ласки не той, кому они принадлежат по праву. И странно (это я добавлю, чтобы быть вполне откровенным), такого чувства я не испытывал, когда случилось мне, прельстившись хорошенькой рабыней, склонить ее на любовь со мной, что в нашей жизни почиталось делом обычным. Много я страдал от такого своего отношения к женщине, которая делала все, чтобы заслужить иное, много я с собой боролся, доказывая себе доводами философии всю неосновательность своих чувств, но словно стеклянная стена была воздвигнута Роком между мною и Лидией, и эту стену я мог пробивать, только изранив руки и испытывая жестокую боль. Ныне, думая

о прошлом, еще раз я прихожу к выводу, что в свое время или каким-то волшебным напитком, или иным тайным способом Гесперия отравила мою душу и обрекла ее на страдания.

VII

Между тем события того времени непростанно и настойчиво напоминали мне о Гесперии. Еще до моей свадьбы тиран Максим отважился на безумное предприятие: не пожелав довольствоваться предоставленной ему властью над тремя прекраснейшими державами[40] Запада, он коварно повел свои войска против императора Валентиниана II. [41] Все слухи, доходившие до нас, единодушно повторяли, что к такому шагу побудила его жившая при его дворе «прекрасная Римлянка», ибо ее ненасытная душа должна была стремиться к власти над всем миром, а сам Максим, конечно, удовольствовался бы покойной и пышной жизнью властителя Галлий, Испании и Британнии. Как раз на первые месяцы моей новой жизни с Лидией выпала та жестокая война, которую пришлось

вести с тираном восточному императору Феодосию. Проезжие купцы и путешественники привозили к нам известия об том, как войска Востока вторглись в Галлию Цисальпинскую, как другой отряд под начальством Арбогаста шел через Рецию, как греческий флот готовился плыть к берегам Италии, – и все рассказчики, единогласно говоря о неспособности и трусости Максима, столь же единогласно свидетельствовали о изворотливости, ловкости и мужестве его советницы. Нетрудно представить, как меня волновали эти вести о Гесперии, изображавшие ее как состязательницу на арене великих событий, своей волей направляющей судьбу империи и приближающейся к ее заветной цели – императорской диадеме. Потом пришли известия о победоносном для Феодосия сражении при Сискии, о бегстве Максима, попытке тирана укрыться за стенами Аквилеи и, наконец, его позорной смерти. Куда скрылась после того Гесперия, мне никто не мог изъяснить, хотя я, – должен в этом сознаться, – неоднократно спрашивал об ее судьбе всех, кто мог дать мне какие-либо сведения.

Все Галлии приняли весть о гибели тирана с ликованием, так как почти никто из их жителей, подобно моему отцу, в душе не признавал Максима императором, но видел в нем недостойного усурпатора. Не было ни в чьем сердце и сожаления о внезапном исчезновении «прекрасной Римлянки», которую большинство считало за злую Эриннию[42] нашей страны. Но если другие прислушивались к вестям о военных действиях с тайным опасением за благополучие наших городов и за свое собственное благосостояние, если другие искренно негодовали на неистовство тирана и его жестокую советницу, то я ловил эти слухи с жадностью только потому, что в них упоминалась та, которая продолжала царить в моем сердце, как Юнона[43] на высоком Олимпе. Сколько раз в глубине моей души подымалось, как змей, отчаянное желание: тайно бросить все и бежать в войска тирана для того только, чтобы снова быть близко от Гесперии, ее видеть, может быть, умереть на ее глазах. Усилием воли и рассудка я побеждал это безумие, объясняя себе, что Гесперия и не захочет меня видеть, что в дни своего торже-

ства она оттолкнет меня ногой, как лишнюю собаку. В томлении, с мыслями о далекой Италии, я продолжал свою жизнь новобрачного, пока не пришла весть о гибели Максима и исчезновении Гесперии. Тогда мною овладела неодолимая тоска, которую я не мог одолеть ничем, тоска, опять заставившая меня целыми днями проводить без дела в своем кабинете, бессмысленно глядя на восковые изображения предков. И так длилось долгие месяцы.

Таково было начало моей семейной жизни. Постепенно и это тяжелое бедствие было пережито. Империя успокоилась, и благочестивый Феодосий восстановил над всем Западом власть императора, Валентиниана II. Гесперия как бы исчезла, и многие почитали ее мертвой. Я вернулся к моей жизни, к заботам по хозяйству, к моей молодой жене и мало-помалу начал выполнять день за днем свою жизнь, как неизбежный и невеселый труд.

Разумеется, от Лидии, несмотря на все мои старания, не могло вполне укрыться мое к ней отношение. Она видела, что я, будучи почитателен и заботлив к ней, подлинной любо-

вью не одушевлен, и это тяготило ее безмерно. Она встречала мои принужденные ласки, как высшее блаженство, но часто я заставлял ее плачущей и, по свойственной человеку непоследовательности, только гневался, когда на мои расспросы она отвечала мне, что вполне счастлива и что ее слезы – пустая случайность. Кротко снося свою судьбу, Лидия старалась бороться с ней лишь одним путем: нежной ко мне любовью, неустанной заботливостью обо мне, преданностью моей матери, а утешения искала в постоянных хлопотах и работах по нашему большому дому, требовавшему постоянного присмотра. Я наблюдал, как она неутомимо распоряжается нашими рабынями, как употребляет все старания, чтобы мне жилось хорошо и покойно; на каждом шагу я встречал признаки ее заботливого внимания, и в дни неудач не было у меня более преданного друга, нежели Лидия. Нередко, оставшись один, я почти со слезами думал об том, какое благо послали мне боги в лице Лидии, и тогда мне хотелось одного: сделать ее счастливой, показать ей наконец, как я ей признателен и как она все же дорога мне. Но,

при первой встрече, мое сердце вновь каменило, слова нежности не сходили с моих уст, и я опять довольствовался несколькими приветливыми выражениями, хотя и их было достаточно, чтобы сделать Лидию счастливой на весь день.

Единственной истинной отрадой в жизни Лидии были наши дети. Их она любила, может быть, сильнее, чем обычно матери любят своих детей, потому что им отдавала она всю ту страстность, которую принять не мог ее муж. Нашего сына и нашу дочь окружила она попечениями такими, как если бы то были дети императора, и относилась к ним с таким благоговением, как если бы то были маленькие божества. Малейшее нездоровье детей тревожило Лидию в такой степени, что она сама становилась чуть не смертельно больна, хотя и продолжала ухаживать за захворавшими с неумолимостью и самозабвением героическими. И я, глядя на эту любовь матери, утешался несколько, говоря себе: «Если я не в силах был сделать Лидию счастливой как жену, все же это я дал ей счастье матери». Однако неумолимые Мойры[44] стерегли меня и всех,

кто связал свою жизнь с моей, и задумали по-разить бедную Лидию в самое чувствительное место – в ее, так ею любимых детях.

На четвертый год после моей женитьбы произошло в нашем доме событие, которому тогда я не придал особого значения; но которое теперь, когда я умудрен опытом всей жизни, представляется мне огромным и важным. Господь бог, в неизреченной милости своей, в те дни еще раз перстом своим указывал мне правый путь, идя по которому я мог спастись и избежать горестных бедствий, иначе предстоявших мне. Я, однако, в своей тогдашней гордыне и слепоте, опять не захотел увидеть тесных врат спасения и тем обрек и себя и всех, связанных со мною, кого на страдания, кого на смерть, за которую и должен буду понести ответ на последнем Суде.

Тогда к нам в дом приехала, чтобы повидаться с родными, моя сестра, Децима Юния, которая после замужества поселилась в Бурдигале. Мы все встретили Дециму очень радостно, потому что все, не исключая Лидии, любили ее нежно и горячо. Но скоро должны мы были убедиться, что во многом Децима

стала иной, нежели была, живя в доме отца. Дело в том, что в Бурдигале вошла она в круг людей, исповедующих учение Христа, и своей чуткой душой поняла величие и истинность новой религии. Еще не примкнув открыто к христианам, Децима уже была душой христианкой и, незаметно для самой себя, всю свою жизнь направила во исполнение высоких заповедей Иисуса. И когда мы настойчиво начали спрашивать у сестры о причинах перемены, замечающейся в ней, она, не тая истины, смело стала проповедовать нам учение Спасителя мира.

Часто до позднего вечера продолжали мы за обеденным столом наши страстные споры о правой вере. Не уступая нам, Децима, которая была очень начитанна, приводила доводы и из древних поэтов, особенно из моего любимого Вергилия, и из философов, и из натуральной истории, наконец из святого Писания, которого мы не желали слушать. Шаг за шагом опровергала она наши шаткие доводы, показывая нам, что Христос был истинный бог, о котором пророчествовали все истинные провидцы, и что его учение, в боль-

шой полноте, содержит все то доброе, что только есть и в религии наших предков. Я, разумеется, возражал сестре с жаром, вновь почувствовав в себе то рвение, с каким когда-то боролся за веру отцов в Риме, и не щадил ни голоса, ни выражений, чтобы хулить губительные заблуждения (как мне тогда казалось) христиан и даже самого божественного основателя веры. Порой так возгорались наши споры и с такой яростью начинал я нападать на сестру, кротко сносившую мои насмешки, что мать должна была вступать в наш разговор и напоминать нам, что мы сидим за нашим семейным столом, а не состязаемся в публичном диспуте.

В тогдашнем моем ослеплении никакие доводы не могли поколебать моих убеждений, и чем разительнее были доказательства и соображения сестры, тем неистовее и более злыми становились мои возражения. Но что касается Лидии и моей матери, то на них рассуждения сестры производили совсем иное впечатление. Была ли их душа более подготовлена к принятию добрых семян, или они не закрывали ее намеренно от благотворной

руки сеятеля, только обе они слушали Дециму сочувственно и невольно соглашались с нею. Напоследок, в наших спорах я уже оказывался один против трех женщин, которые, хотя и робко и неуверенно, но пытались доказать мне, что я не прав в своем отрицании. Мне стали указывать, что вот уже около столетия императоры исповедуют религию христиан, а империя стоит незыблемой, что многие достойнейшие люди, и в том числе наши родственники, приняли новую веру, что истина ее засвидетельствована многими чудесными явлениями и высокими подвигами, и многое другое. Когда я увидел окончательно, какое влияние оказывает проповедь Децимы на мою жену и особенно на старую мать, я порешил, что обязан принять решительные меры.

Однажды во время одного из самых ожесточенных наших споров, когда Лидия, вообще говорившая реже нас всех, задумчиво сказала: «Поистине, кажется мне, что учение Христа выше, чем наша вера», – я встал из-за стола и голосом, который мне самому показался неожиданным, произнес твердо:

– Довольно! Ты, Децима, вышла из-под мо-

ей власти и вольна поступать так, как тебе то позволяет твой муж. Но здесь я – отец семейства и более таких речей позволить не могу. В этом доме, где атрий украшен восковыми изображениями наших славных предков, где жил и умер наш отец, всю жизнь остававшийся верным религии предков, проповедь новой веры есть оскорбление его памяти. Прошу тебя, Децима, доколе ты будешь гостьей в моем доме, не начинать больше такого разговора, а тебе, Лидия, отныне я запрещаю произносить самое имя этого Христа. Так я требую, и да будут к нам милосерды бессмертные.

После того я совершил возлияние чистым вином и вновь сел на свое место. Настало за столом молчание, Децима опустила глаза, а Лидия вся задрожала, почти заплакав; мать тоже не решилась сказать ни слова в ответ мне. Я же был неумолим. Действительно, после того вечера наши споры о вере прекратились, да и Децима вскоре покинула нас, так как ей пора было вернуться в Бурдигалы.

Примечательно, однако (и да обратят на то внимание все, не придающие значения сло-

вам), что именно с этого времени начался ряд несчастий, которые посыпались на наш дом с такой же тяжестью, с какой падали камни из жерла Везувия в памятный день, описанный Плинием.

То были те прискорбные дни, когда империя снова была потрясаема жестокими событиями.

VIII

То произошло в – ой год нашей совместной жизни, в пору, когда на долю нашей родины вновь выпали тяжкие испытания.

В Виене[45] весной того года умер или, как все утверждали, был убит Арбогастом император Валентиниан II. Императором был избран, или, тоже по таким же всеобщим слухам, назначен Арбогастом, бывший магистр скриний[46] Евгений. Новый император, отправив послов к Феодосию с извещением о своем избрании, сам поспешил на Рейн, где одержал победы над бруктерами и комавами...[47] Позднее до нас стали доходить слухи, самые неожиданные. Говорили, что Евгений в Галлиях после победы вошел в сношение со

знаменитым Флавианом, в то же время для укрепления своей власти ищет союза с людьми, оставшимися верными вере предков; что Евгений даже разрешил восстановить алтарь Победы;[48] что в Городе возобновляются храмы, вновь происходят в легионах торжественные служения богам и что отменены законы, дающие разные преимущества христианам. Евгений поехал в Рим. Но, что было для меня всего тревожнее, говорили также, что близ Евгения оказалась женщина, руководящая им, в которой многие признавали «прекрасную Римлянку», жившую когда-то при дворе тирана Максима.

Последнюю весть принес нам один Пакколский купец, по имени Либерий, который время от времени посещал наше поместье, так как у меня были с ним дела. За обедом он рассказывал нам о новых бедствиях Италии и об том, что император Феодосий, конечно, не оставит без отмщенья убийство своего шурина и брата своего благодетеля.[49]

...Лидия, недавно поправившаяся после родов.

– Разумеется, – говорил Либерий, – Восточ-

ный император уже стар, и ему неохота начинать новую войну, но он не может спокойно закрыть глаза, думая, что своим сыновьям оставит угрозу тяжелой войны. Мне достоверно известно, что благочестивый император, хотя и отпустил послов Евгения с дружелюбными словами, уже готовится к походу. Из Византии был послан евнух Евтропий в Фиваиду к одному египетскому монаху, святому отцу Иоанну, славящемуся тем, что он предсказывал будущее лучше, чем в древние времена оракулы Дельфийский и Додонский. Отец Иоанн, который пять дней в неделю проводит запершись в пещере и никогда не вкушает пищи, приготовленной на огне, ответил императорскому гонцу, что Феодосия ждет хотя и кровопролитная, но несомненная победа. Впрочем, это, может быть, было придумано и без Нильского прорицателя, так как у императора великолепные полководцы, Стилихон и Тимасий, лучшие войска из иберов, гуннов, аланов, арабов, готов, наконец, и постоянное счастье, даруемое, ему небом за его благочестие. А на стороне Евгения, говорят, появилась та же самая губительная женщина, кото-

рая уже довела до поражения и смерти бывшего тирана, – помнится, та самая прекрасная Римлянка, что много лет жила в Треверах при дворе Максима.

Когда купец произнес последние слова, я невольно побледнел, словно бы меня ранили острым оружием. Как бы онемев, я не мог вымолвить ни слова, видя опять перед собой образ Гесперии, и моя жена, наш гость и другие участники нашего обеда изумленно смотрели на меня. Победив свое волнение, я объяснил его чувством опасения за судьбу империи и спросил:

– Разве эта женщина жива? Я считал ее погибшей вместе с правителем Максимом.

– Такие чудовища – живучи, – возразил купец (а я при таком оскорбительном отзыве о Гесперии готов был схватить его за горло), – эта женщина умеет выпутаться из любых обстоятельств. Где честный гибнет, там негодяй выходит сух из воды.

Потом (я) косвенно стал расспрашивать о Гесперии, однако Либерий не мог сообщить более ничего: все, что он знал, он сам говорил по слухам, так как явился к нам из Массилии,

а не из Италии. Но и слышанного для меня было достаточно, чтобы опять поколебать меня, тоска и отчаяние завладели моей душой, словно гарпии[50] столами спутников Энея. Ту ночь и все следующие дни я был как бы угнетаем Фуриями и искал лишь одного: новых известий о Гесперии.

В то время как я был в таком тягостном состоянии и когда империя готовилась к новому испытанию, несчастья одно за другим стали обрушиваться на нашу семью.

Не говоря уже о том, что весной, по разным причинам, я понес большие денежные убытки, – даже и такие средства употреблялись Божеством, желавшим указать человеку свой гнев на его безумие. Потом пришло неожиданное известие, что муж моей сестры внезапно захворал и в три дня умер от неизвестной болезни, оставив бедную Дециму без поддержки и без средств к жизни. Надлежало мне утроить и учетверить свои заботы и свою работу, чтобы помочь сестре, внезапно оказавшейся в несчастьи, а я именно в то время душой постоянно уносился в далекий Рим, где моя Гесперия вторично простерла руку к

императорской мантии. Весной, в год консульства императора Евгения, захворала наша маленькая дочь, которой было немногим более месяца. У нее открылась болезнь горла, которую наши медики считали неизлечимой. Бедный <ребенок> весь горел в жару, задыхался, не мог ни произнести слова, ни есть, ни пить. Ужас и отчаяние Лидии я здесь не сумею изобразить, но мне казалось, что в те дни она почти помешалась. Мы вызвали лучших медиков из Бурдигал, употребили все известные нам средства, дали обеты принести богатые жертвы в храм и усердно возносили мольбы Эскулапу и высшим богам, но все было напрасно. Ребенок явно умирал и на пятый день болезни умер, задохся на руках у матери.

Помню, как вбежала ко мне Лидия, с распущенными волосами, с блуждающими глазами, простирая руки и не имея силы высказать ужасное сообщение. В ту минуту я чувствовал, что от всего сердца люблю несчастную женщину. Я молча обнял ее, увел в наш сад, усадил на мраморную скамейку и, тихо целуя, пытался утешить ее, говоря о том, что ее люблю и всегда буду любить, что у нас остал-

ся наш сын, маленький Тит, которому было уже полтора года и который уже лепечет первые слова, что мы молоды и у нас будут еще дети. Мои слова открыли потоки слез, и Лидия начала рыдать в моих объятиях, кругом же была тишина сада, а над нами ясные звезды на небе, в которых мы не умели прочесть своей судьбы. Эта минута осталась в моей памяти навсегда как одна из прекраснейших, может быть, потому, что тогда я всей душой хотел одного: сделать счастливой свою жену.

Наутро стало ясно, что и маленький Тит болен той же болезнью... Он запылал тем же жаром, и такая же боль сжала ему маленькое горло, мешая есть и дышать.

Весь дом был поднят на ноги. Гонцы, посланные мною, скакали во все стороны, разыскивали самых искусных медиков и даже заклинателей, славившихся умением заговаривать болезнь, потому что в том положении я не считал себя вправе отклонить даже малейшую тень надежды. День и ночь в нашем доме шли совещания, принимались всевозможные меры, варились разные снадобья, воскурялся на домашнем алтаре фимиам и

читались заклинания. В отчаянии Лидия хотела даже прибегнуть к помощи христианского священника, но тот, узнав из нашего дома присланного за ним, отказался идти в семью явного кумиропоклонника.

На четвертый день стало ясно, что все наши усилия тщетны. Жизнь явно готовилась отлететь из маленького, исхудалого тельца <мальчика>, и мне в моем тогдашнем состоянии казалось, что я уже слышу в своем доме веяние крыльев Меркурия, который своим кадуцеем[51] Души уводит и приводит в мрачный Орк...

Послали за знаменитым медиком Гипподамом, который удалился от дел и, нажив большое состояние свое врачеванием, жил неподалеку от нас в своем поместье. Несчастья преследовали нас, ибо Гипподам ответил, что сам болей и приехать не может, но послал своего помощника, молодого грека Евкрита, который не сумел ничего нового предпринять. Ребенок задыхался.

Когда не оставалось более сомнения в печальном исходе, у меня неостало мужества смотреть на ужасную пытку. Жена моя, с по-

мутневшим взором, с неубранными волосами, среди которых, несмотря на ее молодость, проступали уже седые пряди, сидела у постели <сына> и побледневшими губами шептала молитвы. Какие-то заклинатели (ибо моления честные отказывались помогать далее) творили в той же комнате какие-то нелепые обряды, что-то жгли на огне и что-то произносили нараспев. Испуганные рабы и рабыни толпились у входа в кубикул.

Потрясенный и подавленный, я тихо вышел из дому и опять сошел в сад. Опять была ночь, подобная той, когда я утешал Лидию после смерти нашей <дочери>; опять кругом была тишина, на небе мигали звезды, в которых я не умел прочесть своей судьбы. Сам не сознавая зачем, я медленно перешел через весь сад и так достиг до ограды, которой он был всюду окружен, и остановился у высоких ворот, где в ту ночь был прикреплен фонарь, так как ждали еще одного знаменитого медика из..., за которым было послано. Там я остановился и долго стоял, без воли, уныло думая о преследующих меня несчастиях, ища им объяснений и не желая признать самого про-

стого, – что Небо карало меня за мое упорное нежелание признать истину.

Внезапно по дороге раздался топот лошади, и, подняв голову, я увидел всадника, остановившегося у ворот. Думая, что это один из разосланных мною во все стороны гонцов или тот знаменитый медик, за которым поехали в..., я спросил всадника, кого он ищет.

– Мне нужно видеть по важному делу Децима Юния Норбана, – ответил подъехавший.

– Это я, – сказал я в ответ.

Всадник наклонился с лошади и стал пристально в меня всматриваться при свете фонаря.

– Это я – Децим Юний Норбан, – повторил я, – это мое поместье. Что тебе нужно?

Вероятно, убедившись, что перед ним именно тот, кого он ищет, приехавший, не сходя с коня, протянул мне что-то.

– Письмо, – почтительно сказал он, – которое приказала отдать тебе в собственные руки госпожа моя, Гесперия из Рима.

При этих словах мне показалось, что свет погас в моих глазах; я взял в руки дощечки и не видел ничего, ни ворот, ни ограды, ни тем-

ных деревьев, ни блистающих звезд. Потом я расслышал слова приехавшего: «Я буду ждать тебя в гостинице „Жирные петухи“, что на перекрестке!» Сказав эти слова, всадник, столь же неожиданно, как приехал, повернул коня и поскакал прочь.

Долгое время я не мог совладать со своим волнением. У меня стучало в висках, в глазах было мутно. В памяти звучали слова таинственного вестника: «...госпожа моя, Гесперия из Рима» – и: «Я буду ждать тебя в гостинице». Оправившись немного, я сломал печать и, при скудном свете фонаря, прочел следующее:

«Дециму Юнию Гесперия, здравствуй!

Знаю, что ты не мог забыть меня, но узнай, что и я тебя помнила всегда и помню теперь. Я простила тебе все, также и твой удар кинжалом, след которого доньне ношу на левой руке, – потому простила, что ты не знал моих тайных намерений, думал, что я изменила нашему общему делу и той моей любви к тебе, в которой однажды поклялась. Но, приняв личину, согласившись подвергнуться презрению людей, которых я ценила и уважала бо-

лее всех других, я втайне продолжала работы для нашего общего дела и шаг за шагом, Капля за каплей воздвигала здание обновления империи и нового храма богам бессмертным. Теперь настало для меня время скинуть обманное обличие, потому что близко осуществление всех наших высоких и прекрасных надежд и торжество истины над ложью, почти столетие угнетавшей народ Римский. Город в нашей власти, храмы возобновляются, великие служения Олимпийцам совершаются невозбранно, трусливо прячутся христиане, видя, что их ложь изобличена. Остается одна последняя борьба за правое дело, из которой мы должны выйти победителями, ибо так предвещают нам неложные знамения. Но для этой борьбы нужно, чтобы все верные соединились в единое войско, чтобы ни один из нас не стоял в стороне от общего дела. Сейчас отсутствовать – значит предательствовать. Где бы тебя ни застали эти строки, каким бы важным делам ты ни посвящал сейчас свои минуты, тотчас, не медля ни одного часа, отправься в путь и спеши в Город, потому что завтра уже может быть поздно. Враг опасен,

он готов напасть на нас и грозит закрыть все дороги к Риму. Если ты промедлишь день, даже час, может быть, минутой, – будет уже поздно: ибо тогда тебе не удастся проникнуть в Рим. Поезжай немедленно, доверься вполне моему посланному; он тебе укажет путь ко мне, в Город. Если ты окажешься верен мне, в чем я не сомневаюсь, – знай, что настало время выполнения всех моих обещаний тебе. Я сказала – всех, потому что помню их все и хочу, чтобы теперь осуществились все! Нет, ты получишь больше, чем я обещала, и больше, чем ты сам ожидаешь. Тебя зову я, и зовет республика, зовет Рим. – Знай, я окружена прежними друзьями, Симмах и Флавиан говорят тебе через меня: Приезжай. Жду тебя. Гесперия сказала: будь здоров!»

Что со мной случилось, когда я прочел это письмо! Я шатался, как пьяный, и в голове у меня был такой вихрь мыслей, какой производят все четыре ветра, когда

*<«...и море, и сушь, и глубокое небо
Ринули быстро б они за собой, размели по просторам...»>*

Одно время я хотел бросить восковые до-

щечки на землю и беспощадно истоптать их. Потом я уже стал обдумывать ответное письмо Гесперии. Еще позднее я, сам скрывая от себя свое намерение, тихо прошел в дом.

Из спальни (сына) все слышались голоса заклинателей, показывающие, что последняя минута еще не наступила. В своем табличке я собрал все деньги, какие были у меня в доме, но, подумав, половину их положил в мешок, на котором написал имя жены, так как сам мог получить деньги у своего аргентария[52] в Массилии. Потом, надев дорожный плащ и шляпу, взяв кинжал, дорожные часы и несколько самых необходимых вещей, как вор, прокрался на конюшню, позвал Фракия, нашего верного домоправителя. Ему я сказал басню, будто хочу скакать к Гипподаму, и сам насильно привезти его. Фракий изумленно смотрел на меня, но я говорил так строго, что он не посмел возразить. Фракий предложил сопровождать меня, но я <возразил>:

– Нет! Нет! Я поеду один, ты нужнее в доме.

На конюшне я разбудил раба-конюха, Сатурнина, единственного, кажется, из наших рабов, который спал в ту ночь, и велел ему

седлать двух коней. Раб с изумлением повиновался. Едва лошади были оседланы, я велел вывести их окольным путем на дорогу, сел на одну, а на другую приказал сесть Сатурнину. Оглянувшись на свой дом, я увидел слабый свет, выходящий из окон, вспомнил свою жену, которая в эту минуту сжимала холодящие ручки нашего ребенка, и такая тоска сжала мое сердце, что слезы полились из моих глаз и я едва не повернул коня обратно. Но словно таинственная сила и какое-то чарование владели мною. Я сдавленным голосом прокричал:

– За мной!

И, направив коня по дороге к городу, погнал по ночной дороге. Проскакав некоторое расстояние, я невольно задержал коня; через миль..... готов был возвратиться. Некоторое время я ехал почти шагом, готовый вернуться. Потом поскакал опять. Потом вновь задумался. И опять поскакал. Наконец решение было принято; я ударил коня по бокам и пустился вскачь.

Книга вторая

I

Мы ехали молча все расстояние, разделявшее нашу Васкониλλу от Лакторы, но, к удивлению раба, я приказал не въезжать в город, но направиться по окольной дороге: в Лакторе все меня знали, и мне не хотелось, чтобы об моем отъезде стало известно. Обогнув на рассвете городские ворота, мы опять выбрались на большую дорогу, идущую в Толосу.[53] Лошади наши устали, и нам пришлось сделать остановку в одной деревне, где нашлась маленькая грязная мансиона,[54] объявлявшая, впрочем, надписью над дверью, что здесь путешественнику будет столь же удобно, как в самом Городе.

Там; за скудным деревенским завтраком, я впервые как бы пришел в себя. С ужасом я созерцал свой поступок, но в то же время чувствовал, что поступить иначе я не мог. Говорят, что люди, подверженные влиянию луны, с закрытыми глазами, погруженные в сон,

идут вперед, никогда не ошибаясь в цели: так подвигался и я в то мое путешествие, подчиняясь влечению далекой Гесперии, которая влекла меня к себе, как <гераклеийский> камень – железные обломки. Плача, я думал о своей жене, брошенной мною в жестокую для нее минуту, но знал, что буду свой путь продолжать.

В мансионе я спросил таблички и написал Лидии письмо, в котором ей клялся в постоянной любви, упрашивая меня простить, говорил, что дела важности чрезвычайной меня вызвали немедленно, давая обещание вернуться скоро и своей любовью смягчить ее страдания. Все это в тот час я писал вполне искренно, ибо именно так и думал, уверенный, что первая встреча с Гесперией излечит меня от моей неразумной страсти. Запечатав письмо своим перстнем, я передал табличку Сатурнину и приказал ему вернуться в Васкониллу и передать Лидии, что я еду в Рим лишь на короткое время, так что возвращусь еще в этом году. Дав еще несколько распоряжений, я отпустил недоумевающего раба, оставив себе другую лошадь, так как на той

дороге трудно было найти лошадей наемных.

Отдохнув в мансионе, я продолжал путь один. Так как тяжелые думы угнетали меня, я непрестанно подгонял коня, не жалея его сил и желая подавить мысли быстрой скачкой и усталостью. Поэтому, несмотря на плохую дорогу, я в тот же день, еще засветло, достиг Толосы, где и решил провести день.

Этот день я посвятил на то, чтобы приготовиться, как должно, к далекому путешествию. Свою измученную лошадь я продал за бесценок хозяину гостиницы, в которой нашел для себя ночлег, а себе купил место в общественной реде, направлявшейся в Массилию. На другой же день я в торговых лавках купил все нужное для путешественника, одежду, провизию, всякие дорожные приспособления, что было нетрудно в таком большом и богатом городе, как Толоса. И в тот же день, с пятью попутчиками, по счастливой случайности оказавшимися людьми мне неизвестными, я выехал в Массилию.

Весь мой дальнейший путь для меня прошел как бы во сне. Это <не> мешало мне совершать вполне разумные поступки, торго-

ваться на мансионах, понукать ленивых возничих, обмениваться незначительными разговорами с товарищами по реде и т. п. В Массилии я явился к моему аргентарию и потребовал у него, к его изумлению, значительную сумму денег, объясняя это неурожаем того года и смертью моего (зятя). Затем я запасся тессерой на корабль общества «Меркурий», отходивший к берегам Италии через два дня.

В Массилии почти все время я просидел в гостинице, избегая всяких встреч и не думая об том, чтобы как-либо развлечься в шумном приморском городе, где расставлено столько соблазнов для приезжающих. Тягостные думы продолжали меня мучить, но я всячески отгонял их, как летом отгоняют мух, и старался разжечь свой дух мыслями о том высоком деле, в котором мне предстоит участвовать. Но это плохо мне удавалось, и в глубине души у меня выросло сомнение, нужен ли я в Городе и не есть ли призыв Гесперии новое коварство со стороны этой новой Кирки.[55]

Вступив на корабль, называвшийся «Кимотоя», я ото всех держался столь же особняком, как на пути из Толосы, несмотря на то, что во

время морского путешествия все попутчики обычно сближаются между собой. Впрочем, общество на «Кимотое» было нелюбопытное: по большей части здесь собрались купцы, ехавшие по своим делам и обсуждавшие положение в империи с точки зрения своих торговых дел. Из их разговоров я не мог узнать ничего для себя нового. Обычных же путешественников совершенно не было, так как всех страшила угроза приближавшейся войны.

Только одно лицо из всего населения корабля привлекло мое внимание. То был молодой человек с несколько греческим лицом, очень хорошо одетый, в дорожном плаще с цветными отворотами. В его умении держаться, в его выговоре и всей осанке было то высшее изящество, которое дается лишь после долгой жизни в Городе и, кажется, совершенно недоступно провинциалам. Подобно мне, молодой человек держался особняком от других, не вступая в общие беседы, и никто не знал, с какой целью он совершал путешествие. Мне казалось, что он несколько раз внимательно посматривал на меня, и даже его лицо показалось мне несколько знако-

мым, однако я не мог припомнить, где я его видел. Раза два мы обменялись с ним незначительными словами, причем он называл меня Требонием, – имя, которым я себя назвал на корабле, – а себя назвал Гликерием. Однако и из этих немногих слов было видно, что Гликерий как-то выделял меня из числа остальных путешественников, потому что относился ко мне с неожиданным вниманием и почтительностью.

Плавание наше было трудным, так как, несмотря на хорошее время года, нас застала сильная буря. Между Корсикой и Ильвой нашу «Кимотою» так качало, что никакие предметы не могли удержаться на месте. Большинство путешественников очень страдало от качки, в том числе и я, не привыкший к морским переездам. Это обстоятельство тем более помешало моему сближению с попутчиками и знакомству со странным молодым человеком. Значительную часть времени я пролежал на палубе, не имея сил даже встать, и, право, в те часы готов был дать клятву никогда более не вступать на борт корабля.

По мере приближения к берегам Италии

погода улучшилась, и «Кимотоя» снова стала двигаться плавно. Все путешественники стояли на палубе и ждали появления земли. Я же в это время не мог не вспомнить своего первого путешествия в Рим, десять лет тому назад, и думал об том, как это второе на него не похоже. Тогда я ехал исполненный детских, но пламенных мечтаний, оставляя за собой только юношеские проказы и впереди видя целую жизнь, которая меня манила своей таинственной далью. Теперь за мной было счастливое, устроенное существование, была любящая жена, которую я оставил переживать тяжелое горе без всякой поддержки, а впереди я мог ждать лишь унижение, ряд обманов и коварств, может быть, даже смерть в рядах войска, дерзко выступавшего против могущественного императора Востока. И все-таки я ехал на этот позор, потому что передо мной, как в тумане, стоял образ Гесперии, по-прежнему имевшей надо мной непонятную и волшебную власть.

В Римский Порт мы вступили еще до полудня, так что я в тот же день мог найти себе место в общей реде. Гликерий предпочел

взять для себя отдельную <карпенту>. Он вежливо раскланялся со мной, но, уходя, с любезной улыбкой неожиданно сказал:

– Я надеюсь, что мы еще увидимся, Юний.

Пораженный тем, что ему известно мое настоящее имя, я хотел его расспросить, но молодой человек поспешно удалился, и мне осталось ждать от будущего разрешения этой маленькой тайны, которая, впрочем, объяснилась очень скоро.

В реде, прижавшись к углу среди шестерых попутчиков, я промолчал всю дорогу. Вечером мы были уже за Портуенскими воротами, на том самом месте, где юношей я впервые вступил на почву Вечного Города. Позвав носильщика, я приказал нести мои вещи в хорошую гостиницу и, идя за ним, впивался глазами (в) не забытые мною, да и незабвенные, очертания храмов, домов и улиц Города. Несмотря на вечер, улицы были еще полны людом; таверны едва закрылись; из конюшен слышались крики и песни; пробегали рабы с носилками; толкались рабочие, возвращавшиеся домой, – и ничто не указывало на то, что Город переживал какие-то великие дни,

которые должны были изменить все существование империи. Все кругом мне казалось знакомым, и я готов был думать, что покинул Рим не десять лет назад, а всего накануне, что я природный житель столицы и что моя жизнь в Васконилле, мой брак, моя семья – все это отлетевшие сновидения.

В гостинице я принял ванну и подкрепился легкой пищей. Рассудок говорил мне, что я должен подождать завтрашнего дня, чтобы идти к Гесперии. Но сердце мое стучало, волнение было так сильно, что я не мог оставаться в покое. Не осилив его, я оделся насколько мог лучше и, несмотря на то, что уже близилась ночь, вышел на улицу. Я еще не знал, пойду ли я в тот же вечер к Гесперии, но мои ноги как бы сами собой повели меня по знакомым улицам. Уже приближаясь к Холму Садов, я говорил себе, что только издали посмотрю на дом Гесперии. Но когда я оказался перед воротами ее сада, я не мог совладать со своим желанием и с силой ударил дверным молотком.

Едва прозвучал мой удар и этот звук наполнил пустую и почти темную улицу, как уже мгновенное раскаяние охватило меня и я был готов трусливо укрыться за углом, как делают уличные мальчишки, из озорства стучащие под разными дверями. Но уже послышался голос раба-привратника, осведомлявшегося, кто стучит, и я почти с досадой назвал свое имя. Тогда привратник звонком дал знать в большой дом другому рабу, оставив меня дожидаться по другую сторону ограды.

Многое перечувствовал я за те немногие минуты, что простоял перед этим столь знакомым мне входом. Я глядел на грязные камни мостовой и вспоминал, как лежал здесь ничком, целуя, в слезах, эти стародавние плиты, в то время как Гесперия проводила время со своим возлюбленным. Я смотрел на очертания виллы, белевшейся среди темной зелени сада, и мне казалось, что деревья как-то разрослись и одряхлели за мое отсутствие, что уже не так красиво и не так свободно встают из-за листвы легкие колонны и архит-

равы. А также вспомнил я и о своей жене, которую покинул ради сомнительного счастья вновь увидеть Гесперию, конечно, за эти десять лет постаревшую и утратившую свою красоту, но все же замыслившую какое-то коварство, какое-то отчаянное дело, на которое желает послать меня. И незаметно ход моих мыслей изменился, и, когда возвратившийся раб позвал меня следовать за собой, я уже жалел не только об том, что в первый же день пришел к Гесперии, но и (об) том, что вообще приехал в Рим.

Переходя обширный сад, видя знакомые лужайки, уже не так тщательно убранные, купы деревьев, подстриженные без прежнего искусства, и водоем, в котором более не плавали лебеди, — я говорил себе, что должен быть твердым и не поддаваться обманному чарам женщины, погубившей мою молодость. Свою детскую клятву я исполнил честно: несмотря на все самые крайние препятствия, стоявшие предо мной, я поспешил к Гесперии по первому ее зову. Более я ей ничего не должен и могу, как только замечу первую тень лжи в ее словах, в тот же день,

не сказав ей прощальных слов, покинуть Город. И при мысли, что я скоро вновь увижу свою Васкониллу и неожиданным появлением обрадую свою печальную Лидию, – моя душа наполнилась потоком истинного счастья.

Раб провел меня через сад к главному входу и в <вестибуле> передал меня рабыне, лицо которой мне показалось знакомым. Та с поклоном провела меня через атрий и перистиль[56] в небольшой триклиний,[57] у входа в который стояли рабы. Откинув занавес, рабыня произнесла мое имя, и я, переступив порог, увидел при ярком свете двух триподиев[58] – Гесперию.

Триклиний, куда я вошел, был небольшой комнатой, обставленной строго по-римски; кроме треугольного стола и трех лож около него, там был лишь светильник и угловой стол для смешивания вина. На двух ложах перед кубками вина возлежали два человека: Гесперия и тот юноша, который назвал себя на корабле Гликерием; третье ложе было пусто.

Первый взгляд, брошенный мною на Гесперию, привел меня в какой-то трепет, слов-

но я увидел нечто страшное. В самом деле – передо мною была та самая женщина, с которой я расстался десять лет назад; ничто в ней не изменилось, ни дивная красота, ни изумительная прозрачность кожи, ни ласковая царственность взгляда, – как будто бы годы не смели коснуться этого совершенного создания. Мне представилось даже, что легкое и прелестное платье, надетое на Гесперию, одно из тех, которые я уже видел прежде. Все было именно то, что я воображал в своих потаенных мечтах, когда воображал себя чудом перенесенным в Треверы или в Лугдун,[59] в присутствие Гесперии. И минуту я готов был верить, что ничто не изменилось, что я, опять восемнадцатилетний юноша, стою перед той, которой навсегда отдана моя любовь.

Не знаю, заметила ли Гесперия мое минутное оцепенение, но она легко встала с ложа и пошла мне навстречу, простирая руки, со словами:

– Милый Юний, мы тебя ждали! Гликерий добавил:

– Прости, Юний, что я предупредил госпожу Гесперию о твоём прибытии в Рим.

Опять, как маленький мальчик, я не находил слов, которые должен был произнести в те миги, и бормотал что-то неясное, а Гесперия поспешно поместила меня на свое ложе и, приказав рабам подать мне кубок вина, сама заговорила, вновь меня чаруя своим нежным голосом, который я когда-то сравнивал с пением Сирен.

– Я не сомневалась, Юний, что ты приедешь. Не буду сегодня с тобой говорить о делах, так как ты утомлен. Но, совершая свой переезд и приближаясь к Городу, ты сам, конечно, заметил необыкновенное оживление всей страны и понял, что готовится нечто великое, когда все верные делу должны быть вместе. Сегодня ты – просто мой гость, прошу тебя испробовать эти вина и считать, что ты у себя дома.

Я осведомился, откуда Гликерий узнал мое настоящее имя.

– Как, – возразил юноша, – разве ты не узнал меня? Ведь это же я передал тебе письмо госпожи Гесперии.

Тут я действительно понял, что именно Гликерий был тот таинственный вестник, ко-

того я встретил у ворот моего сада.

– Я не думал, – продолжал Гликерий, – что тыпустишься в путь тотчас, иначе я предложил бы тебе совершить путешествие вместе. На корабле же, узнав, что ты назвал себя вымышленным именем, я полагал, что у тебя есть на то важные поводы, и <не> желал нарушать твоей тайны.

После того разговор перешел на житейские вопросы, и Гесперия очень мило стала расспрашивать меня о моей жене, так как она знала о моей свадьбе. Со смущением давал я ответы, умолчав о трагических событиях последних дней, и поспешил перевести разговор на события в Городе. Я узнал, что Гесперия уже два года как овдовела, что император Феодосий ее, как пособницу врага отечества, хотел лишить наследства, которое ей вернул лишь новый император Евгений, хотя, впрочем, далеко не все, так что у нее осталась лишь эта вилла на Холме Садов и одна загородная вилла, а также меньше половины когда-то принадлежавших Элиану рабов. Далее я узнал, что мой дядя Тибуртин живет вновь со своей женой, моей теткой Меланией, но со-

вершенно опустился и целые дни проводит за кубком вина, так что его редко видят трезвым и в Курии он почти не появляется. Говорила еще Гесперия о смерти Претекстата,[60] о чем я, разумеется, был уже осведомлен, так как весть о кончине столь значительного человека проникла в отдаленные углы империи, о Флавиане, Симмахе и о многих других лицах, которых я знавал во время моего первого пребывания в Городе.

– Ты увидишь их всех, Юний, – сказала мне Гесперия, – и скоро, быть может, завтра же, потому что я хочу, чтобы ты принял участие в наших самых важных совещаниях. Судьба Рима и империи теперь в наших руках.

Император Евгений всегда исполнит то, что мы укажем. Франк Арбогаст верен нам. Мы должны действовать твердо и решительно, потому что в нас последняя надежда империи. Говорю прямо: в последний раз дана богами возможность Римлянам сознать свои губительные заблуждения и восстановить величие республики. Если у нас не останется мужества или искусства, боги от нас отступятся, и тогда, быть может, на целое тысячелетие на-

ступит для мира непроглядный мрак.

В этих словах, произнесенных голосом вдохновенным, я все узнавал ту Гесперию, которая чаровала мое юное сердце. Я опять всматривался в ее шею, достойную <амиклейской> Леды, в ее алые уста, в ее глаза, казавшиеся бездонно глубокими, и испытывал это старое волшебство, овладевшее мною вторично. Но я не мог не видеть, что так же жадным взором следил за ней и наш третий собеседник, Гликерий, не спускавший с Гесперии глаз, но говоривший мало и лишь охотно подставлявший свой кубок мальчику-виночерпию.

Когда уже было поздно, Гесперия спросила меня, где я поместился в Городе, и я назвал свою гостиницу.

– Ни одной ночи ты не должен проводить в гостинице, – возразила Гесперия. – Это неприлично для человека твоего положения, которому будут поручены важнейшие дела в республике. Я не подумала, что у тебя нет друзей в Риме. С сегодняшнего же дня ты будешь жить у меня, и завтра все твои вещи будут перенесены в мою виллу.

Я начал было возражать, говоря, что прежде всего не хочу подавать повода к дурным слухам, но Гесперия прервала меня:

– Я – вдова, – сказала она, – и никому не обязана давать отчета в своей жизни. Нет, Юний, это решено. Эту ночь ты проведешь в комнате для гостей, и я извиняюсь за скромное ее убранство. Завтра же тебе приготовят отдельную комнату, где ты будешь себя чувствовать совсем спокойно.

Я видел, что Гесперия рассчитывает на мое долгое пребывание в Городе, и не знал, что возразить.

Между тем Гесперия, как хозяйка, поднялась с места, давая этим знать, что нам пора расходиться.

– Значит, я должен уходить сегодня? – спросил Гликерий, намеренно наивным голосом.

– Как же иначе? – возразила Гесперия холодно, глядя пристально в лицо юноши.

На меня этот маленький диалог произвел впечатление тяжелое, так как я подумал, что, вероятно, бывали дни, когда Гликерий не должен был уходить из дому Гесперии и с на-

ступлением темноты. Но юноша, не возражая, стал прощаться, и мы проводили его до вестибула, так как в саду его дожидались рабы с носилками и факелами. Когда мы остались одни, Гесперия сказала мне:

– Милый Юний! повторяю: ты устал с дороги, и я не хочу тебя сегодня ничем тревожить. Все важные объяснения оставим до другого раза. Теперь прощай, но помни, что моя комната всегда для тебя открыта.

Сказав эти слова, она быстро повернулась и скрылась. Я остался один, не зная, как понять намек Гесперии: ждет ли она, что я последую за ней сейчас же, или то была лишь простая вежливость, я не мог решить. Пока я стоял в колебании, ко мне подошел раб, предлагая мне указать мою комнату. Неуверенным шагом я пошел за ним, но потом решил, что, во всяком случае, благоприятная минута пропущена и что моя попытка последовать за Гесперией была бы только смешной.

В помещении, извиняться за которое можно было только по излишней скромности, я нашел роскошное убранство, пышную постель и даже какую-то недавно выпущенную

книжку, которую мог почитать перед сном. С душой смутной, неуверенной, что будет со мной в следующие дни, лег я на это ложе, но скоро усталость освободила меня от всех забот.

III

Проснувшись утром, я не сразу мог понять, где я нахожусь, ибо все предыдущие дни, когда я совершал свой путь, я был в некоем горячечном бреде, почти не оставлявшем мне времени мыслить. Оглядевши комнату, я, разумеется, сразу все припомнил и невольно предался вновь грустным мыслям, раздумывая о безумии своего поступка. Воспоминания о жене неизбежно (вызывали) тяжелую скорбь, словно громадный камень, сброшенный Сисифом, лежал на моем сердце, но в то же время в душе стоял, как пламенное видение, и образ вновь увиденной мною Гесперии. Пока я так раздумывал, уныло и безнадежно, в комнату мою вошли рабы с предложением своих услуг, помогли мне одеться, причем мне были предложены лучшие одежды, чем те, какие я когда-либо носил, и изве-

стили меня, что госпожа Гесперия уже меня ждет.

Гесперию я застал за завтраком, в легком утреннем платье, казавшуюся в нем еще более молодой, нежели десять лет назад, как если бы предо мной была юная девушка, мечтающая о замужестве, а не опытная женщина, пережившая двух мужей, бессчетный ряд возлюбленных и изведавшая тысячи превратностей судьбы. Меня Гесперия встретила с приветливостью исключительной, как давнего друга, который имеет все права на ее внимание, угощала меня с любезностью испытанной хозяйки и постоянно в разговор вставляла намеки о лучших днях нашего прошлого. Я же, зная коварство этой женщины, постоянно думал, какая новая западня кроется в этой приветливости.

Когда рабы были высланы из комнаты и мы остались вдвоем, с кубками легкого утреннего вина, Гесперия сказала мне:

– Теперь, милый Юний, мы можем говорить откровенно. И так как время не дает медлить, я оставлю в стороне все другое, кроме нашего дела. Ты живешь в уединении и

вряд ли знаешь весь его ход. Поэтому я должна тебе объяснить все, хотя бы и вкратце, чтобы ты знал, чего должен держаться.

Я возразил, что, сколько мог, следил за великими событиями в империи. Гесперия же продолжала:

– Пришел великий час осуществления всего, о чем мы мечтали долгие годы. Разными путями мы, верные богам, стремились к этой цели, и, может быть, некоторые пути были ошибочны. Теперь настало время дать последнюю битву безумству христиан, в течение столетий ведших к гибели Римский народ. Воскресить идеи о целостности империи, о ее существовании, о существе духа Рима, о будущем всего человечества. Если бы и эту борьбу мы проиграли (чего я не думаю), больше не останется надежд, и над миром, может быть, на целое тысячелетие воцарится ночь. Вот почему мы должны все соединиться, должны напрячь все силы, и победить мы теперь должны.

Дальше Гесперия в быстрых словах изложила мне положение дел в Западной империи.

– Евгений, – говорила она, – ничто. Его поставил Арбогаст, который по своей воле сверг и властителя Валентиниана, так как самому Арбогасту, как франку, нельзя было мечтать о диадеме Римского императора. Ты знаешь, что сказал этот Евгений, когда ему предложили порфиру? Он сказал: «Было бы глупо отказываться от такого подарка Фортуны». Бедняк, в императорской власти он видит лишь любопытное приключение! В конце концов он человек неглупый, что доказывается уже тем, что его считал в числе своих друзей наш Симмах, но он недалёковиден, у него нет подлинной силы, нет правильного представления о величии своего звания. При всех других условиях Евгений был бы просто игрушкой в руках Арбогаста, но мы не (зевали), мы поспешили действовать и ныне можем сказать, что Арбогаст – наш. Флавиан победил его силой своей диалектики и силой своего ума. Евгений – игрушка Арбогаста, а Арбогаст – покорная игрушка в руках Флавиана, которого почитает своим лучшим другом и с которым неразлучен. Итак, пока судьба императора в нашей воле, и как бы ни было мало это «по-

ка», его должно быть достаточно для людей, умеющих пользоваться временем, рассуждать и действовать.

Выслушав внимательно это объяснение, я возразил:

– Однако сила не в одной императорской власти. За эти годы я научился более трезво смотреть на вещи. И если ты оказываешь мне честь, сообщая мне все эти подробности, я спрошу тебя: во-первых, есть ли у вас деньги, ибо незавидна судьба Алкибиада; во-вторых, есть ли у вас войско; в-третьих, расположен ли к вам народ; в-четвертых, что предпринял император Феодосий?

Гесперия беспечно рассмеялась, как если бы мы вели шуточный разговор, и ответила:

– Милый Юний, ты стал слишком рассудительным! Чтобы ответить на твои четыре вопроса, мне пришлось бы говорить весь день, а у нас, как я сказала, нет времени. Но неужели ты думаешь, что мы сами не догадались поставить себе те же вопросы? Верь, что все предусмотрено, насколько человеческий ум способен предусматривать. Все есть, что можно было иметь, а больше да дадут нам бес-

смертные боги, волю которых мы исполняем!

Такой ответ мало меня удовлетворил, и я стал бы настаивать на своих сомнениях, но Гесперия возразила:

– Ты скоро все узнаешь подробно, потому что сейчас мы поедем к Флавиану на тайное совещание, где ты сам увидишь и этого Евгения, и Арбогаста, и Флавиана, и всех наших...

– Как, – изумленно возразил я, – ты хочешь вести меня к императору?

Гесперия, опять смеясь, пожала плечами.

– Называй его, если хочешь, императором, – ответила она, – хотя мы никогда не унижаем этого титула, применяя его к столь ничтожному существу. Ну да, я хочу вести тебя к императору и весьма рада, что ты прибыл в эти дни, потому что, вероятно, скоро Евгений и Арбогаст уезжают из Города в Медиолан. Но неужели тебя смущает необходимость говорить с ним? Я призвала тебя в Рим не для малых дел, и ты должен привыкнуть к обращению с великими.

Мне стало стыдно, и я поспешил заверить Гесперию, что отнюдь не побоюсь беседы с кем бы то ни было, она же заботливо начала

мне растолковывать:

– Запомни, Юний, ты – давний участник нашего дела, я объявлю, что тебе известны все его тайны; что ты лишь медлил выступить, чтобы появиться в самый важный час. Ты знаешь Флавиана, и он тебя помнит, потому что я ему часто напоминала о тебе. Симмаха, к сожалению, сейчас нет в Городе; да и вообще наш бывший друг держит себя двойственно, – как будто он еще не вполне доверяет нашему делу. Но, конечно, он соединится с нами после нашего первого успеха. С Евгением ты можешь говорить совершенно свободно, конечно, соблюдая все внешние знаки почтения: ему, бедняжке, ведь ничего другого и не нужно. Впрочем, не называй его «святошью»: нам это не приличествует. Держись осторожно с Арбогастом, – он силен и опасен, но не будь с ним слишком подобострастным. Из других запомни имя комита Арбитриона, – это человек дельный и способный: мы готовим его для положения важного.

Гесперия давала мне еще немало других советов, которые я даже тогда не сумел удержать в памяти. Между тем раб уже пришел с

извещением, что носилки дожидаются нас. Гесперия, пристально взглянув на клепсидру [61] и узнав, что уже поздний час, заторопилась, приказала мне дожидаться ее, а сама ушла переодеваться. Я остался один в атрии и провел странные минуты, раздумывая над той переменной, какая столь внезапно произошла в моей судьбе. Еще недавно я был скромный житель Васкониллы, размышлявший о урожае этого года и здоровье своих детей, а вот сегодня я уже должен идти в императорский совет, в консисторий [62] принцепса, как равноправный член: не пошутили ли надо мной боги, и не вижу ли я все происходящее в странном сновидении? Но понемногу атрий наполнился клиентами. [63] Они с недоумением смотрели на меня, но никто не заговаривал.

Между тем появилась Гесперия в роскошной, убранной золотом цикле. [64] У входа нас ждало двое носилок и громадная толпа клиентов и рабов. Раб-негр стал на колени, чтобы я, ногой опираясь на его плечо, легче мог взобраться в носилки. Затем опустились завесы, и, мерно колыхаясь, я не стал двигаться, но

полетел вперед. Рабы стремились полным бегом, впереди бежали другие, крича и разгоняя толпу палками. Время от времени уличная чернь, узнав носилки Гесперии, встречала их приветственными криками. И я, колыхаясь на спинах рабов, чувствовал себя в тот час знатным вельможей, и – в этом я должен покаяться – в то время это чувство меня обольщало, и, забывая, что все это было простой прихотью женщины, я уже сам чувствовал себя чем-то значительным и важным и не без пренебрежения выглядывал сквозь завесы на уличную чернь.

IV

Вирий Никомах Флавиан, назначенный исправлять консульство того года, <жил на *via Lata*, близ арки Диоклециана>. Когда мы оказались у входа в его дом, Гесперии было достаточно сказать лишь одно слово, чтобы рабы тотчас бросились со всех ног извещать хозяев о посещении и, вернувшись, через минуту пригласили нас, с поклонами, пожаловать в дом. Это дало мне убеждение, что Гесперия не преувеличивала, говоря мне о своем влиянии.

Дом Флавиана был строго-римской архитектуры и убран весьма просто. Потемневшие стены казались суровыми свидетелями жизни предков, чьи восковые изображения смотрели на нас из армариев,[65] и присутствие божества в этом доме казалось мне тогда несомненным, когда я увидел обширный домашний ларарий, уставленный статуями богов, пред которыми дымился фимиам.

В атриум толпились клиенты, но раб провел нас в более отдаленную часть дома и, возгласив наши имена, отдернул завес в уединен-

ную комнату, где тотчас навстречу нам поднялся из-за стола Флавиан.

Вновь я увидел пред собой этот мужественный образ истинного Римлянина, напоминавшего образ Катона или Агриппы, со взором, подобным орлиному, с резко очертанным изгибом подбородка...

Хозяин почтительно приветствовал Гесперию, а та, указывая ему на меня, напомнила:

– Ты, конечно, узнаешь Децима Юния Норбана, нашего старого друга?

Пристально посмотрев на меня, Флавиан сказал:

– Боги да благословят твое прибытие, Юний Норбан! Римлянам долженствует быть в это время в Городе, и ты, прибыв сюда, поступил так, как того требовало твое славное имя.

Едва, по приглашению хозяина, мы разместились, как раб возвестил о прибытии еще комита[66] Арбитриона.

– Прекрасно! – воскликнула Гесперия. – Мы теперь почти все в сборе. Я хочу, чтобы Юний был посвящен во все наши дела.

– Ты этого хочешь, *domina*?[67] – переспро-

сил Флавиан.

– Я это уже говорила тебе, – возразила Гесперия, – и настаиваю, что Юний вполне наш... Его я извещала о всем ходе дел. От него у нас не может быть тайн.

Комит Арбитрион, вошедший при этих словах, мне сразу не понравился. Правда, был он человек старый и видный, с лицом хотя и надменным, но благородным, но было что-то в его взгляде, что мне не внушало доверия. Он принадлежал к числу людей, не смотрящих в глаза собеседнику, но упорно отводивших взгляд, отчего их речь кажется угрюмой и сумрачной. Кроме того, лицо его время от времени начинало подергиваться, и это внушало мне какое-то неприятное чувство.

– Ну, что ж нового, Флавиан? – воскликнула Гесперия, когда мы, наконец, все разместились.

Что может быть нового, *domina*, – уклончиво возразил Флавиан, – если ты меня видела еще вчера?

– Полно, старик, – с небрежностью, прости-тельной женщине, возразила Гесперия, – не скрытничай. Вчера ты виделся с Арбогастом.

Что говорил проклятый франк?

– Ему нечего говорить, – ответил надменно Флавиан, как бы колеблясь, быть ли ему откровенным; потом, решившись, продолжал: – Ему нечего говорить, потому что я приказал перехватить послов, и все новости у меня, а не у него.

– Это дело! – весело воскликнула Гесперия. – Что же сообщили послы?

– Мало хорошего, – угрюмо произнес Флавиан. – Война решена. Император Феодосий, несмотря на смерть Галлы, пожелал отмстить убийство ее брата. Громадные приготовления для похода сделаны. Собраны лучшие войска, которые пройдут через <Юлийские> Альпы. Флот готов плыть из <Никополиса> к берегам Италии. Нам предстоит борьба трудная и опасная.

Несколько времени мы обсуждали те приготовления, которые делались Восточным императором, и наконец Гесперия воскликнула:

– Но боги за нас!

– Феодосий верит, что его бог – за него, – ответил Флавиан. – Он отправил евнуха Евтропия в Египет, спросить <богоспасаемого Иоан-

на Ликопольского. Христиане верят этому старцу. Говорят, он в какие-то дни открывает окно своей затворнической кельи, построенной собственноручно на вершине высокой горы, и дает предсказания толпе. Рассказывают, будто Евтропий привез предсказание о кровопролитной войне и несомненной победе Феодосия.>

Помолчав, Флавиан добавил:

– В народе даже ходят слухи, что сам Феодосий, переодетый простым колоном,[68] тайно удалился в Иерусалим, чтобы там испросить помощи в борьбе и вопросить тамошних святых людей об исходе войны.

– Ого! – воскликнула Гесперия, – значит, мы сильны, если сам Феодосий принял такие меры!

– Феодосий стар, – вставил свое слово Арбитрион, – не ему начальствовать над этой великой войной, делящей всю империю на две половины. Лучшие полководцы Феодосия, которые доставили ему победы над <готами>, давно умерли. Кто у него теперь? Какой-то неведомый Стилихон, ничем не замечательный, да этот Тимасий, бездарность которого

засвидетельствована... Пусть идет на нас: мы дадим ему достойный отпор!

Гесперия поспешила присоединиться к этому утверждению комита, но Флавиан, казалось, не разделял ее уверенности; с глубокой раздумчивостью он возразил:

– Я полагаю, что Феодосий поступает хорошо, ища помощи того бога, в которого он верует. В этом мы должны подражать ему. И нам должно больше полагаться на силу богов, чем на остроту мечей. Торжественные молебствия, лектистерний,[69] постоянные принесения жертв – вот на что мы должны всего больше опираться. Что до меня, я намерен очистить себя высшим таинством тавроболлии. В Городе же, Риме, я намерен устроить торжественное шествие...

Сколько я мог заметить, Гесперия не без смущения слушала речи Флавиана.

– Милый Флавиан, – возразила она, – ты, конечно, прав. Будем усердно молить богов и приносить жертвы. Но не забудем также собирать новые войска, стягивать те, которые есть, к границам, укреплять города и запасать продовольствие. Боги не разят сами, а лишь

помогают мощи легионов. Вспомни, что не боги поразили пунов,[70] но Сципион!

Флавиан внезапно поднялся из-за стола, и его лицо странно преобразилось. Каким-то блуждающим взором обвел он нас, но потом овладел собой и голосом решительным, властным, пронизывающим почти прокричал:

– Римляне! Берегитесь таких мнений! Ради чего мы начинаем эту борьбу? Ради богов бессмертных, почитаемых, которых отвергли безусловно люди нашего времени!

Ради славы могучего Юпитера и властной Юноны, ради вечно прелестной Венеры и вечно девственной Дианы! Ради чего я, старик, отказался от спокойной старости и стал в ряды мятежников против закона императора? Я, назначенный консулом на следующий год, за что бросаю на ставку свои фаски[71] и пурпурные креп <иды>?[72] Ради славы бессмертных! Разве земных мы ищем выгод? Разве нас привлекают власть и богатство? Нет, нет, все это каждый из нас имеет в избытке, но только ради истины подыдем мы правый меч! За опозоренную веру наших предков, за унижен-

ные предания Рима, за отвергаемый дух Римский – идем мы грудью на победоносного императора Востока! Не нам, не нам, а имени богов будет слава наших побед! Лик Юпитера [73] защитит нас от вражеских мечей лучше брони и шлема. Его молния разметет врагов сильнее, чем ядра наших баллист. Что же такое наши боги, если они бессильны защищать себя самих в этой борьбе, которую мы ведем ради них?

Сознаюсь, что, как ни был я в те годы оболещен своим верованием, я не без некоего ужаса смотрел тогда на Флавиана и слушал эту речь, напомнившую мне скорее те безумные вопли, которые я слушал в юности в лагере поклонников Антихриста. Одно время у меня мелькнула мысль, не повредился ли мощный ум старого понтифика, [74] и казалось мне, что другие слушатели разделяли мои опасения. Ныне, когда все, что должно было совершиться, совершилось, я не без основания думаю, что мои предсказания были справедливыми и что старик утратил ту ясность ума, которая отличала его в прежние годы.

Я не знал, что говорить, Арбитрион смотрел в сторону, но Гесперия поспешила на помощь. В спокойных словах, отдав должное величию мыслей Флавиана, она все же постаралась перевести разговор на вопросы более точные. Флавиан, как бы утомленный своим порывом, снова сел, погрузившись в какую-то задумчивость, и уже нехотя отвечал на вопросы Гесперии. Таким образом разговор велся почти исключительно между Гесперией и Арбитрионом, причем они подробно обсуждали все способы, как сосредоточить наибольшее число легионов на наших восточных границах, как их прикрыть, снабдить всеми средствами, кого избрать вождем и т. д.

Не имея возможности участвовать в этих обсуждениях, я скучал на этом совещании. Когда ж оно уже подходило к концу, Гесперия вновь обратилась к Флавиану со словами:

– Теперь, Флавиан, мы должны найти достойное место, чтобы наш Юний мог приложить там свои силы, жаждущие дела, и свои прекрасные дарования.

Несколько оживившись, Флавиан посмотрел на меня и спросил:

– Что же ты умеешь, юноша?

Я скромно ответил, что не считаю себя ни в чем опытным, но не откажусь и от самой малой должности, если она нужна для успеха общего дела.

– У нас есть свободное место *triumviri aedibus reconstituendis*, [75] – вставила свои слова Гесперия.

Флавиан медленно перевел на нее глаза и возразил:

– Это – одно из высших мест в городе.

– Что ж, – запальчиво возразила Гесперия, – разве потомок Юния Брута не заслуживает такой должности! Я бы не поколебалась сейчас же назначить его префектом города! Я так хочу, чтобы Юний занял должность *triumviri aedibus reconstituendis*.

– Хорошо, *domina*, – произнес Флавиан, – твое желание будет исполнено.

Смущенный и даже уstraшенный, я начал было возражать, но Гесперия остановила меня:

– Так надо, Юний! – сказала она. – Мы все должны приносить жертвы. Уступи и ты. С завтрашнего дня ты – триумвир.

Только в этот миг я понял, что таким назначением я уже тесно связан с Городом, что мои мечты о том, чтобы вскоре его покинуть и вернуться к себе, к моей несчастной жене, становились неосуществимыми. Мне стало страшно.

«Бедная, бедная Лидия!»— подумал я со вздохом.

После того Гесперия рассказала еще Флавиану об Арбогасте и императоре, а затем мы попрощались с хозяином, причем Флавиан еще раз сказал мне на прощание:

– Юноша, помни! Боги – всё; мы – ничто. Верь в помощь бессмертных, им служи и на них надейся.

На пороге дома Гесперия сказала мне, что нам пока должно разлучиться:

– У меня есть другие дела. Я надеюсь увидеть этого Арбогаста и от него узнать последние новости.

Тут она наклонилась ко мне и шепнула тихо:

– Потому что если Флавиан перехватывает послов Арбогаста, то Арбогаст тоже перехватывает послов Флавиана.

Потом добавила громко:

– Ты свободен, Юний, до вечера. Может быть, ты хочешь посетить своего дядю? Располагай этими носилками и вообще считай, что в моем доме ты не гость, а хозяин. Вечером мы встретимся за обедом. Теперь прощай.

Ей помогли сесть в носилки. Она сделала мне прощальный знак рукой, и рабы помчали ее прочь. Я же, отпустив свои носилки, предпочел идти пешком.

V

Смутны были мои мысли во время этой моей первой прогулки по Городу. Я чувствовал, как и десять лет назад, что неожиданно какой-то тесный круг сжимается около меня, что я лишен своей воли и принужден подчиняться другой. И опять темное чувство ненависти к Гесперии стало подниматься со дна моей души.

Первое время я брел без цели, предаваясь думам и воспоминаниям, перебирая в уме друзей моей юности, которых мне уже не придется более увидеть, и прежде всего ожи-

вился образ милого Ремигия, юноши, окончившего жизнь самоубийством в термах Каракаллы.[76] Потом, приблизившись к форумам, я невольно увлекся пышной и никогда не надоедающей картиной, представившейся мне. Опять я проходил по мрачным площадям, похожим на комнаты дворца, опять любовался многоязычной и многоцветной толпой, теснившейся всюду, опять с благоговением смотрел на древние здания, на колонны и арки побед, на золотой щит Юпитера Капитолийского.[77] После затишья нашей Лакторы мне доставляло странное удовольствие прислушиваться к говору толпы, присматриваться к покупателям, спорящим у лавок меняли или золотых дел мастеров, и даже наблюдать, как в стороне, на грубых камнях, оборванные тунеядцы играли в кости или как уличные фокусники обманывали легковерных ротозеев.

Мне казалось, что еще рано идти к дяде, да, по правде сказать, мне доставляло величайшее удовольствие вновь полюбоваться Римом, Городом для всех Римлян, потому что кто хоть однажды увидел его, остается непо-

бедимо зачарованным, и его уже нельзя забыть. Кто хоть однажды увидел его, того всегда влечет к нему, как человека, выросшего на берегу моря, – к морю, как горца – в горы. Я вдыхал теплый воздух Рима, слушал его немолкнущий хриплый рокот, и этот запах, и этот шум мне казались сладостней лучшего благоухания и изысканнейшей музыки...

С каждым шагом с непобедимостью вставало в моей душе прошлое; недавняя беседа в доме Флавиана быстро стерлась в моей памяти, но я вспомнил все, что пережил десять лет назад, и уж мне казалось, что я вновь восемнадцатилетний юноша. Я готов был верить, что сейчас за поворотом встречу моего друга Ремигия, бедного юношу, окончившего жизнь самоубийством в термах Каракаллы, что вдруг навстречу пойдет мне щеголь Юлианий, также уже умерший, что вдруг мне передадут таинственную записку от странной девушки Реи, которую я сам видел распростертую на земле с врезавшимся клинком в окровавленное ее горло... И когда я был предан этим горестным воспоминаниям, внезапно я увидел Рею, торопливой походкой шедшую

передо мной, низко наклонив голову; и так было поразительно это видение и так я был полон своих воспоминаний, что, забыв все прошлое, нисколько не удивившись в первую минуту, я ринулся вперед к этой девушке и воскликнул: – Реа!

Девушка, на миг остановившись, обратила ко мне лицо с недоумевающими глазами, потом еще торопливее поспешила вперед.

Разумеется, я сразу понял все свое безумие, вспомнил, что Реа умерла уже десять лет назад, но сходство было так изумительно, что я некоторое время стоял пораженный, как бы молящий Юпитера.[78] Когда дар соображения вернулся ко мне, я сам сказал себе, что виденная мною девушка не может быть Реей, и не только потому, что той уже нет в живых. Если Гесперия со всеми исхищрениями современных притираний и ароматов и могла сохранить почти тот же облик, что десять лет назад, то доступно ли это было девушке, жизнь которой была полна лишений. А между тем та девушка, которую я видел, казалась нисколько не старше, но даже моложе той Реи, которую я знал в юности. Не могло быть

сомнения, что это другая женщина, но странным образом похожая на Рею.

И все же сердце мое сильно билось, и я не мог преодолеть желания погнаться за женщиной. Ускорив шаг, я ее скоро настиг и продолжал идти за ней. Заметив это, она сделала попытку уклониться от преследования, но я был неумолим и все шел по ее следам. Так мы дошли до Тибра, потом девушка решительно вступила на мост (Эмилия), и опять мое сердце затрепетало от поразительного совпадения: моя Реа тоже жила в Транстиберинской [79] части.

Когда опять мы сравнялись на пустынной улице, девушка стала внезапно проявлять явное беспокойство, так как ее, видимо, смущало мое преследование. Она несколько раз переходила на другую сторону улицы, но я следовал туда за ней. Она остановилась, остановился и я. Она пошла вновь, пошел и я. Тогда, решившись, вероятно, на отчаянное средство, девушка обратилась ко мне и, смотря мне прямо в глаза, сказала:

– Что тебе нужно от меня, domine?[80] Ты ошибся, приняв меня за девушку, ищущую

знакомства. Прошу тебя, оставь меня идти своей дорогой. Иначе я буду просить о помощи.

Когда девушка стала передо мной, когда я видел близко ее лицо, сходство ее с Реей выступало еще разительней. И голос ее был похож на глухой голос Реи. Но девушка, по всем признакам, была много моложе, и лицо ее было через то привлекательнее, потому что Рею никогда нельзя было назвать красивой.

– Прости меня, девушка, – сказал я, – и верь, что у меня нет никаких дурных намерений. Я в Городе – приезжий, прибыл сюда лишь вчера. У меня нет обыкновения преследовать прохожих женщин. Но ты столь изумительно напоминаешь мне одну девушку, которую я знал в юности, что я хочу и я должен спросить тебя, не сестра ли ты ей. В таком случае я готов оказать тебе все услуги, какие могу, потому что память той, умершей девушки, свято чту.

Девушка недоверчиво посмотрела на меня и возразила:

– Если ты чужестранец, нехорошо насмехаться над бедной девушкой. Иди своей доро-

гой и оставь меня. Мне не нужно никаких услуг.

– Клянусь тебе богами! – возразил я, – что я не насмехаюсь. Как это ни удивительно, я говорю истину. Во имя святости Олимпа, скажи мне свое имя!

– Для чего тебе мое имя? – возразила девушка. – Если ты клянешься богами, между нами не может быть ничего общего, потому что я верую во Христа распятого. Прощай, оставь меня.

Она быстро побежала прочь, но я, распаленный и этими словами, потому что Реа тоже была христианка, опять бросился вдогонку, настиг мою незнакомку, загородил ей дорогу и воскликнул страстно:

– Умоляю, заклинаю тебя, не убегай! Ты не знаешь, как для меня важно знать твое имя. Я ничем не обижу тебя, я не скажу ни одного вольного слова, я ни о чем не прошу тебя, я только хочу знать твое имя!

Так неистовы были мои слова, что девушка уже начала смотреть на меня с изумлением, по-видимому, отказавшись от своего страха. Должно быть, лицо мое было бледно, и я

весь дрожал. После колебания девушка сказала:

– Что тебе в том, что меня зовут Сильвия?

При таком ответе я едва не упал; у меня все закружилось в голове, действительность слилась с мечтой, и я невольно прислонился к стене соседнего дома, чтобы удержаться на ногах. Мне показалось, что я брежу или вижу сон.

– Сильвия, – пробормотал я, – Сильвия... Это не может быть!

– Разве ты звали так же? – спросила меня девушка.

– Почти так, – отвечал я, и потом с новым жаром продолжал – Сильвия![81] Мы с тобой люди разной веры, может быть – разных стран. Но все равно, если ты веришь, что есть в мире люди честные, что не все одушевлены непременно дурным, – доверься мне. Я хочу узнать тебя, я хочу быть с тобой знаком. Я – Децим Юний Норбан, племянник сенатора Рима, только что назначенный префектом вигилей. Ты видишь, я не скрываю своего имени, не прячусь, доверься мне. Подумай, что хотя и редко, но бывают в жизни случаи

странные, встречи удивительные. Ты веришь в бога: разве бог не может послать тебе на встречу человека, с которым ты должна стать другом? Я вижу в нашей встрече волю божества. Не противься ей.

Понемногу мое поведение успокоило волнение девушки. Ее молодое лицо уже было освещено улыбкой, и странно было ее и сходство с Реей, и странно несходство, так как Реа никогда не улыбалась. Осмелев, Сильвия спросила меня:

– Чего же ты хочешь, Юний? Я ничего не могу тебе дать. Я – бедная девушка, живу здесь со своей матерью. У нас дома убого, и не тебе, префекту, посещать нас. К тому же я – неученая, и тебе не может быть интересно говорить со мной. Теперь ты узнал мое имя, давай разойдемся.

– Нет, – возразил я, чувствуя, что эту битву я выиграл, – мы больше не разойдемся. Если хочешь, я пойду к твоей матери и скажу ей все то же, что говорил тебе. Или поступи, как хочешь, иначе. Но я хочу еще раз тебя видеть, говорить с тобой, я хочу узнать тебя.

– Ты – странный, – сказала девушка и мед-

ленно пошла вперед, уже не препятствуя, чтобы я шел с нею рядом.

Не помню, что я говорил во время пути, так как все это были какие-то бессвязные слова; что-то разговаривали о Рее, я что-то говорил о себе, а девушка отвечала мне кратко и часто изумленно посматривала на меня. Так мы дошли до высокой инсулы,[82] высокого дома, помещения, сложенного еще до Диоклециановых времен, и там девушка остановилась.

– Я живу здесь, – сказала она.

– Войти мне к тебе? – спросил я.

Девушка подумала и ответила:

– Нет, этого не надо. Моя мать будет сердиться.

– Где же я увижу тебя? – жадно спросил я, уверенный, что получу отказ на свою просьбу.

Но Сильвия ответила:

– Приходи завтра под Большой Портик, в (пято)м часу, я буду там.

И, проговорив эти слова, быстро, как полевая мышь, скользнула в темную дверь и скрылась.

Постояв минуту у двери, я хорошо заметил дом и пошел прочь. Когда же, вскоре, рассудок опять прояснился во мне, я должен был осыпать себя горькими упреками.

«Юний! Юний! – говорил я себе. – Ты и теперь остаешься прежним безумцем! Не довольно тебе всего того, что ты совершил! Не довольно тебе, что ты вовлечен в сомнительную историю, что ты вновь подпал под власть этой Гесперии, гарпии во образе прекрасной женщины! что ты оторвался от семьи, от несчастной жены, от своих обязанностей и принял зачем-то должность префекта, предложенную тебе от имени сомнительного императора, что в случае неуспеха тебе грозят великие беды, колодки мятежника, потеря имущества, а может быть, и казнь! Зачем захотел ты вовлечься еще в какое-то уличное приключение? На что тебе эта неопытная молоденькая девушка, которой, может быть, не более пятнадцати лет? Что ты от нее хочешь? Зачем смущаешь и ее и себя? Разве мало женщин, похожих друг на друга? Это ли причина произносить торжественные клятвы и давать безумные обещания? И что же! Завтра, как

школьник, ты побежишь на свидание к Большому Портику, где все будут видеть тебя в обществе бедно одетой девушки, – ты, который завтра же будешь назначен префектом вигилей! Юний! Юний! ты безумствуешь!»

И много других тягостных истин говорил я сам себе. Но потом, вспомнив, что раскаяния бесполезны и что сделано – сделано, я тряхнул головой, чтобы отогнать черные мысли, и решительным шагом направился через весь Рим, на Виминал, в дом своего дяди Тибуртина.

VI

Снова забилося мое сердце, когда я подошел к столь известному мне дому на Виминале, где я пережил так много часов и последнего счастья, и краткой скорби. Неподалеку от дома я заметил несколько рабов, которые без дела толпились на улице, и среди них признал хорошо знакомого мне Мильтиада. Я его окликнул, и старик, тотчас узнав меня, подбежал ко мне.

– Ах, господин Юний, – вскричал он, – тебя ли я вижу! Отчаялся я уже еще раз повидать

тебя в жизни. Я – стар, а тебе зачем было ехать в наш несчастный Город?

– Почему ты его назвал несчастным? – спросил я. Но, перебив сам себя, продолжал: – Или лучше расскажи мне, как в вашем доме проживают?

– Плохо, очень плохо, господин, – откровенно сознался старик, понижая голос, – *illustrissimus*[83] почти ни во что не вмещивается... да ты знаешь, конечно, почему и чем он занят целые дни. А *domina* Мелания и *domina* Аттузия целые дни проводят с попами или по церквам. Скупы они стали ужасно, мы все голодаем, а все доходы идут на христианские храмы. Даже все клиенты нас бросили. Плохо, господин, очень плохо!

После таких неутешительных известий, я приказал доложить о своем приезде, но Мильтиад объявил мне, что это не нужно, и прямо повел меня к дяде.

Несмотря на дообеденный час, я застал досточтимого сенатора Тибуртина уже за кубком вина, в его любимом таблине. Самый беглый обзор дома показал мне, что обветшание его увеличилось безмерно и что содержится

он крайне небрежно; а при первом взгляде на дядю я, с горестью, убедился, что он постарел за эти годы не на десять, а на тридцать лет; передо мною сидел совершенно дряхлый старик, с мутными глазами и трясущимися руками. Дядя не сразу узнал меня; когда же я себя назвал, проявил некоторое удовольствие и тотчас налил мне кубок какого-то вина.

После первых расспросов о моей судьбе, на которые я ответил уклончиво, дядя тотчас заговорил о современном положении дел в Городе.

– Губят империю, – сказал он, – не остается более Римлян. В Сенате и вокруг императора – одни варвары или низкие честолюбцы. И сам этот император (дядя огляделся, не подслушивают ли нас) – просто пройдоха, бывший писец, по соизволению нашего франка, надевший диадему. Я больше в Курию не хожу, не хочу участвовать в позорном деле. Благодарю богов, что мне осталось жить недолго и что я уже не увижу развалины вечного Рима!

– Помилуй, дядя, – возразил я, – как говорить это в дни, когда исполнены лучшие на-

ши надежды! Храмы богов восстанавливаются, жертвы приносятся открыто, на значках легионов вновь изображение Геркулеса! По правде, Рим возрождается, а не гибнет.

– Я стар, – с сердцем сказал мне сенатор, – живу в Городе и лучше тебя вижу, в чем дело. Ведь император-то кто? Христианин! Велика ли честь получить позволение поклоняться богам от их врага, от христианина! Да и позволение-то дано лишь для того, чтобы привлечь людей старой веры в легионы! погоди, будет одно из двух: или Феодосий разметет легионы этого Евгения, как сор, а самого императора прикажет высечь, как мальчишку, и бросить в тюрьму; или, – если наперекор всем вероятностям, одержит победу Арбогаст, – сразу кончатся все эти вольности. Христиан они затрут, а над Римом воцарятся франки, и тот же Арбогаст станет восьмым римским царем, первым после Тарквиния.

В том же духе дядя говорил еще многое, показывая все же ясность ума, несмотря на жалкое состояние, в какое его повергло давнее пристрастие к богу Бакху. Но когда появилась тетка и Аттузия, дядя сразу замолчал, словно

испугался, и уже больше нельзя было добиться от него ни слова. Тетка также сильно постарела, превратилась в сморщенную старуху, на которую теперь не польстился бы никто даже ради денег, а дочь ее, Аттузия, только еще больше высохла и почернела и, в своем черном платье, имела вид монахини.

Тетка встретила меня сурово и почти с первых слов перешла к поучениям:

– Знаю я, зачем ты пожаловал! Спокойно мог бы оставаться в своей Аквитании. Больше пользы честно обрабатывать свои земли, чем здесь вмешиваться в мятеж против законного государя. Да и в опасное дело ты здесь впутываешься: смотри, не сносить тебе головы.

Я возразил, что приехал по торговым делам, но мне не поверили, и Аттузия добавила:

– Ты воображаешь, что ваши сильны? Каждый мальчишка всякими насилиями удерживает власть до поры, до времени. Хотят восстановить времена неистовств Диоклециана и вновь устроить гонение на христиан. Но преклонится Рим пред истинной верой. Вот, месяца полтора назад, здесь, в Городе, был проездом святой человек, Павлин. Посмотрел

бы ты, как все улицы были запружены народом, чтобы повидать его! Стар и млад теснились вокруг него. А когда вашего нового консула проносили по улицам, на них так <было> пусто, словно мир вымер. Погоди немного: благочестивый император Феодосий покажет вам скоро, что значит гнать христиан. Восплачут все тогда о своих головах, да поздно будет.

– Помилуй, Аттузия, – возразил я, – я вовсе не собираюсь гнать христиан. Но, с другой стороны, помню, что ваша вера повелевает за зло платить добром. Как же ты грозишь нам мезтью благочестивого Феодосия? Тетка пришла в ярость и сказала:

– Ты, Юний, возмужал, но не поумнел. Опять заводишь свои диалектические споры.

Аттузия же, намекнув, что реторике я не доучился (словно сама она ее изучила!), важно стала объяснять мне, что между праведным гневом государя и мезтью – большая разница.

Такой скучный разговор продолжался еще некоторое время, после чего я начал прощаться. Тетка предложила было мне остаться обе-

дать, но я, не ожидая от обеда в доме дяди ничего хорошего ни для своей души, ни для своего желудка, решительно отказался.

– Ты все-таки приходи к нам, Юний, – сказала тетка. – Мы рады видеть у себя родственника.

Я же, хотя в ответ на это приглашение и пообещал приходить, тут же мысленно дал себе клятву, что больше никогда не переступлю порога дома Тибуртина, где тяжело мне было видеть унижение моего дяди сенатора, а также торжество двух женщин-лицемерок.

От дяди я пошел домой, то есть на Холм Садов, в дом Гесперии, где меня уже ожидала предупредительно устроенная для меня ванна. После бани я отдыхал в своей комнате, так как чувствовал большое утомление от непрерывно для меня сменявшихся событий в тот день, опять предавшись невеселым размышлениям. Но испытания того первого дня, проведенного мной в Городе, не были еще закончены.

Гесперия, очевидно, порешила, что ее влияние на меня недостаточно, и захотела укрепить свои сети новыми соблазнами. Поэтому

к обеду никто не был приглашен, и мы оказались с ней наедине. Пока рабы подавали смелые роскошные блюда, слишком изобильных для двух застольников, Гесперия вела со мной легкую беседу, то остроумно рассказывала мне о разных, – впрочем, совершенно незначительных, – событиях своей жизни, то опять начинала посвящать меня в дела империи, то вдохновенным голосом говорила о нашем великом деле и о истинной религии предков.

Когда же были поданы плоды и вновь наполнены вином наши кубки и рабы удалились, Гесперия переменяла голос и заговорила со мной по-другому.

– Вот мы одни, милый Юний, – сказала она, – и можем, наконец, на свободе поговорить о самих себе. Я еще не сказала тебе, как я тебе признательна за то, что по моему первому зову ты сюда прибыл. Это было большое испытание, но я верила в тебя и знала, что все печальные события прошлого не могли изменить твоих чувств, как они не изменили моих.

Как всегда, в присутствии Гесперии душа моя двоилась. С одной стороны, я угадывал

коварство и расчет в ее словах, ясно видел, что она говорит с определенной целью. С другой стороны, вкрадчивый голос Гесперии, ласковость ее слов и нежный взгляд ее глаз действовали на меня непобедимо, как магическая формула на заклинаемого Демона. Стараясь сохранить самообладание, я ответил:

– Domina, я помню, что дал тебе страшную клятву. Не столько ради моих чувств к тебе, сколько из благоговения к богам, я должен был ее исполнить.

– Милый Юний, – возразила Гесперия, – мы одни, и больше не надо притворствовать. Я хочу говорить с тобой вполне откровенно, так, как мне говорить должно было десять лет назад. Я ничего с тебя не требую, я хочу, чтобы ты во всем поступал по своей воле. Скажи, что ты больше не любишь меня, и тогда я первая посоветую тебе немедленно ехать домой.

В ту минуту я не знал, что ответить. Одну минуту мне хотелось сказать: «Да, я больше не люблю тебе», – но я не уверен был, что после таких слов у меня станет сил уехать, и я не знал, будет ли такое признание правдой.

Поэтому, колеблясь, я сказал:

– Гесперия! по совести, я не знаю, люблю ли я тебя теперь!

Глаза Гесперии стали печальными, как у маленькой девочки, которую незаслуженно обидели, и она, медленно подвинувшись ко мне, произнесла отдельно и тихо:

– Так, Юний! Ты этого не знаешь... А я знаю, что я тебя не переставала любить никогда, все эти долгие годы, когда не смела даже написать к тебе и думала, что ты меня презираешь! Сколько раз, в пышных Треверах, где протекали мои самые несчастные дни, ночью, одинокая на своем ложе, я вспоминала тебя и плакала, плакала, представляя твое лицо, подобное лику юного Меркурия!

Гесперия вдруг приподнялась на ложе и обнажила до плеча свою белую, словно из мрамора изваянную руку.

– Сколько раз, плача, я целовала этот шрам, оставленный на моей руке от твоего кинжала! Юний! Юний! я любила этот знак, как знак твоей любви ко мне! Целуя его, я думала, что целую твои алые губы! Ах, никто, никто в мире не получал столько поцелуев,

сколько эта роковая черта на руке женщины!

Уже содрогаясь от близости Гесперии, я пробормотал, отодвигаясь:

– Гесперия, чего ты хочешь от меня?

– Чего я хочу? – воскликнула Гесперия и, вдруг порывисто вскочив, бросилась на пол у моих ног.

– Чего я хочу? Хочу, чтобы ты любил меня, любил опять все той (же) своей первой любовью, не знающей меры и не знающей предела. Чтобы ты снова ради меня был готов идти на смерть! А если этой любви в тебе нет, я хочу, чтобы ты убил меня. Возьми вновь кинжал, теперь твоя рука не дрогнет! Рази меня, я буду счастлива, принимая этот удар. Юний! Юний! убей меня!

И она ползала у моих ног с искажившимся, но все же прекрасным лицом, цепляясь за мои колени, простирая ко мне руки, раскрывая свою грудь, как бы для того, чтобы мне удобнее было поразить ее. Поистине, если эта женщина притворялась, она была самым великим мимом в мире! А может быть, она и не притворялась, но правда и ложь уже так смешались в ее душе, что она сама не умела раз-

личать их.

И опять, под страстными выкриками Гесперии, под ее горячими руками, обнимавшими меня, я утратил всякую способность мыслить. Сам плача, я поднял женщину, мы сидели с ней рядом, и я, задыхаясь, рассказывал ей, что пережил в годы разлуки. Речь моя была бессвязна, как бессвязны были и ответы Гесперии, но я рассказал ей про отчаянье первых лет, про свои бессонные ночи, про свои слезы, потом про свою женитьбу и все, все, вплоть до смерти своих детей... И, среди этих трагических рассказов, мы обнимались и целовались, как безумные. Я прижал губы Гесперии к своим, когда говорил ей о смерти отца; она поцелуем прервала мои признания о скорби моей жены; и я был не то в ужасе, не то счастлив без конца... И, когда нужно было плакать, мы смеялись и пили вино, и вновь обнимали друг друга.

Так прошло, должно быть, много времени, когда Гесперия вдруг сказала, что уже поздно и что нам пора расстаться. Сразу она приняла строгий вид, оправила платье и освободилась из моих объятий. Я не посмел возразить, хотя

в моих ушах еще звучали слова, сказанные ею мне накануне: «Помни, что моя дверь... <всегда для тебя открыта>». В последний раз Гесперия приблизила свои губы к моим, но уже в спокойном дружеском поцелуе, и потом звонком вызвала рабов...

Словно оборвалось представление какой-то трагедии. Мы снова стали далеки друг от друга, и Гесперия рассудительно объясняла мне, в чем будут состоять мои обязанности триумвира. Потом мы попрощались и снова разошлись, каждый в свою комнату.

VII

Утром на следующий день мне уже принесли диплому на мое новое звание триумвира, подписанную самим императором. По совету Гесперии, я щедро одарил вольноотпущенников, явившихся ко мне с этим поручением, а затем отправился во дворец, чтобы лично отблагодарить императора. Гесперия припасла для меня богато вышитую тогу,[84] приличествующую моему званию, в которой я чувствовал себя крайне неудобно, и приказала мне подать роскошные носилки.

До того времени мне не случалось бывать на Палатине, где тогда временно жил император Евгений. Лишенный руководства, я чувствовал себя очень неловко, так как не знал, как должно себя вести. Впрочем, мой опыт службы при дворе Максима давал мне некоторые необходимые указания.

У входа в <вестибуге> дворца меня встретил <номенклатор>,[85] которому я показал мою диплому и объяснил цель своего прибытия. <Номенклатор> записал мое имя в пугиллар[86] и передал меня одному из стражей, который меня провел через ряд покоев в залу ожидания. Двор был столь велик, что один я заблудился бы в его переходах, как в диком лесу. Здесь не было безвкусной роскоши, как в Медиоланском дворце, не было позолоты и разноцветных мраморов; напротив, все отличало размеренность истинных художественных древностей – и соотношение стен, и строение линии колонн, и соответственное убранство покоев. Но на всем лежала печать медленного разрушения; кое-где украшения потолка уже осыпались и не были восстановлены, кое-где комнаты стояли пустые, так как

их убранство было вывезено, виднелись пустые клетки, где когда-то пели птицы, и пустые ниши, где прежде стояли статуи.

В помещении ожидало большое множество народа, и я себе припомнил, как, в свое время, я присутствовал в Медиоланском дворце на приеме Сенаторского посольства императором Грацианом. На меня никто не обращал внимания, и я мог спокойно, устроившись в уголке, наблюдать бывшую предомной картину. Среди раззолоченных вельмож, собравшихся здесь, меня поразило громадное количество лиц не римских: здесь было много франков с суровым выражением, немало германцев, были какие-то африканцы с черными лицами и британцы с длинными усами. Весь этот люд тихо переговаривался, причем до меня долетали порой искаженные слова людей, плохо владевших римской речью, и вся зала гудела, как улей.

Ждать мне пришлось долго, потому что иоменклатор поочередно называл ряд других имен, среди которых большинство также не были латинские.

Наконец, было произнесено и мое имя с от-

четливым добавлением титула:

– Decimus Iunius Norbanus, triumvir aedibus reconstituendis!

Сознаюсь, что сердце во мне забилося сильнее обыкновенного, когда под сотнями взоров, обратившихся ко мне, я перешел через обширную залу и по указанию <приставленного здесь раба> вступил в соседнюю комнату.

Согласно обряду, войдя, я пал ниц. Поднявшись, я мог рассмотреть маленького человечка с невыразительным лицом, с тупыми глазами и большим подбородком, одетого, впрочем, весьма просто, – то был император Евгений. Он сидел за маленьким столом, заваленным свитками. Около стоял могучий великан с чертами лица франка, и я понял, что это – Арбогаст. Несколько франкских воинов с копьями были тут же, готовых охранять жизнь императора от всяких покушений.

– Ты Децим Юний Норбан? – спросил меня Арбогаст, рассматривая меня.

– Я Децим Юний Норбан, – ответил я, – пришел принести благодарность его святости за дарованную мне милость.

– У тебя хорошее имя, – сказал тогда император скрипучим голосом, – и за тебя ручались хорошие люди. Служи же достойно. Не чини несправедливостей по отношению к тем, кто владеет храмами по праву, но закон исполняй неукоснительно. Остерегайся мздоимства. Мы нещадно караем всякое взяточничество, и, если ты провинишься в том, что за деньги потворствуешь кому-либо, ничто не спасет тебя от нашего праведного гнева.

Император закончил, а я, не зная, что должен дальше делать, снова повторил свою благодарность и дал клятву служить императору исправно. Маленький человечек за столом милостиво наклонил голову, и я вышел. Опять на меня устремились сотни глаз, но я поспешно направился к выходу из зала, где меня тотчас перехватили стоявшие там воины. Разумеется, мне пришлось раздать немало серебряных монет, а затем, получив от (распорядителя) указание, что в назначенный мне день я должен в храме (таком-то) принести присягу на верность, я мог выбраться на свободу, к своим носилкам. Через несколько минут я уже был дома, и все свершившееся

казалось мне таким ничтожным, что я никак не мог понять, как может оно оказать влияние на всю мою жизнь.

VIII

Вернувшись домой, переменяв свое торжественное одеяние на более простое и немного отдохнув, я отправился пешком под Большой Портик.

Уже во время моего первого пребывания в Городе я любил гулять по тем роскошным портикам, которые бесконечной полосой опоясывают чуть ли не всю область бывшего Мартового поля. И снова прежнее восхищение охватило меня, когда я вступил в эти прохладные приюты, где длинной чередой тянулись колонны из драгоценного мрамора, с золочеными капителями, где пол был убран яшмой и гранитом, где в нишах собран был целый мир изумительных статуй и где площадки, время от времени, утешали зеленью буксов, мирт, лавров и платанов. Как всегда, разнообразная толпа наполняла портики, так как сюда шли и богачи провести в прогулке часы перед баней, и знатные женщины, что-

бы показать свои наряды, и знаменитые метрики[87] – повидаться со своими поклонниками, и бедняки, которым некуда было деваться и которым было приятнее в мраморных общественных палатах, чем в своем грязном углу. Одни шли сопровождаемые толпой рабов, другие – стесненные кругом друзей и поклонников, третьи гуляли одиноко, четвертые протягивали руку, просили подаяния, – и все вокруг было наполнено жужжанием речей и по-латыни, и по-гречески, и на многих других языках империи.

Так как было еще рано, я выбрал окольный путь через Портик Септа, чтобы подойти к Большому Портику со стороны Мавсолея. Однако в Септе я невольно замедлил, вновь увлеченный выставленными там диковинками Востока, изделиями художеств Индии и стран Серов, чучелами редких зверей и рыб, образцами разного оружия далеких стран. И когда я стоял там, рассматривая эти редкости, мое внимание привлекла женщина, одетая пышно, но слишком вызывающе, вся увешанная драгоценностями, с пальцами, сплошь залитыми перстнями, в которой нетрудно было

угадать знатную меретрику. Толпа юношей, одетых тоже щегольски, окружала ее, но лицо женщины мне показалось знакомым, и, всматриваясь в нее, я уверился, что она тоже с любопытством меня разглядывает.

Через минуту из толпы ее поклонников отделился один, подошел ко мне и вежливо спросил, не я ли Юний Норбан, племянник сенатора Тибуртина; когда же я ответил утвердительно, юноша объявил мне, что госпожа Мирра надеется, что я не забыл ее, и хочет со мной говорить. Хотя я не знал никакой Мирры, однако я счел своей обязанностью подойти к женщине и, приблизившись, вдруг ее узнал. То была <Лета>, сестра Реи.

– Здравствуй, Юний, – сказала мне она, – мы давно не видались. Я даже не знала, жив ли ты. Давно ли ты в Городе?

Объяснив в нескольких словах свое присутствие в Риме, я, в свою очередь, спросил Мирру, давно ли она вернулась в Город, так как при нашей последней встрече она собиралась уехать на Восток.

Мирра весело засмеялась, показывая ряд очаровательных зубов, тщательно отполиро-

ванных, и, прищуривая свои подведенные глаза, возразила:

– Я уже успела забыть, что была в Вифинии. Не мое место в этой ссылке, хотя там очень красивые мужчины и прекрасное вино! Нет, я уже давно опять в Городе и весьма рада видеть тебя здесь опять. Буду также рада, если ты придешь ко мне обедать. Мой дворец помещается на <Виминале>. Спроси любого мальчишку, где дом Мирры, тебе укажут.

Я поклонился в знак благодарности на приглашение, а Мирра, вдруг вспомнив, добавила с лукавой гордостью:

– Ты помнишь, я ведь и тогда говорила, что мой дом будет на (Виминале).

По правде сказать, она говорила мне, что живет в жалком лупанаре,[88] где, нынешняя залитая золотом, Мирра должна была продавать свое прекрасное тело за несколько сестерций. Я это также припомнил, да припомнил еще и тень моего бедного Ремигия, погибшего из-за любви к этой женщине, а также образ ее погибшей сестры Реи, и мне захотелось уколоть надменную гетеру.[89] Я ей сказал:

– Да, помню! Ты говорила это мне вместе с моим другом Ремигием. Кстати, вспоминаешь ли ты когда этого бедного юношу, как и свою бедную сестру, Рею?

Мирра нахмурила свои слишком черные брови и досадливо заметила:

– Я не люблю вспоминать прошлого; с меня достаточно настоящего и будущего. Vale, [90] милый Юний.

Я понял, что мне должно удалиться, поклонился вновь и хотел уходить, но Мирра, раскаявшись, вероятно, в своей невежливости, быстро добавила:

– Но я жду тебя к себе завтра на обед, приходи непременно.

Я же, продолжая свой путь, раздумывал печально: «Вот я вновь обрел и Гесперию, и Рею, и <Лету>, и словно ничего не изменилось в Городе за эти десять лет! только я сам стал иным, и нет во мне прежней бодрости и прежней силы!»

Под Большим Портиком я нашел толпу еще большую, чем в других, особенно по мере того, как я подвигался вперед по направлению (к) театру Помпея. Люди шли в непре-

рывном движении, один за другим, так что порой лишь новый голос и новые отрывки речей долетали до слуха, и новые фигуры поражали зрение, тогда как за крайними портиками, под знойным солнцем, дожидались, расположившись на камнях, рабы с носилками. Нелегко было найти в этом месте ту, которую я искал, но, наконец, я заметил Сильвию у небольшого пруда, устроенного на одной площадке. Перегнувшись через мраморную стену водоема, девочка внимательно рассматривала спокойную глубь воды. Подойдя, я ее окликнул, и она удивленно подняла голову.

– Я не думала, что ты придешь, – сказала она.

– Почему же мне было не прийти, Сильвия?

– Ах, очень многие говорили мне то же, – как-то печально ответила девочка, – уверяли, что их встреча со мной чудо, а потом забывали обо всем. А если кто и приходил (добавила она еще печальнее), то вел себя со мной так, что я сама должна была от него скрываться.

– От меня тебе не придется скрываться, – возразил я, взглядываясь в ее лицо и вновь ди-

вась ее странному сходству с Реей.

Подобно многим другим, мы начали нашу прогулку под прохладными сводами Портика. Мы говорили о разных пустяках, я расспрашивал Сильвию о ее круге, но она, отвечая на мои вопросы, упорно уклонялась от решительных ответов. Я узнал только, что она живет в бедности, что ее мать работает изделия из волос, которые продает в лавки, а ее отец уехал в Африку, где надеялся нажить деньги, но уже давно не дает вестей о себе, так что неизвестно, жив ли он еще. Понемногу, однако, девочка стала доверчивее, и наш разговор стал содержательнее. Наконец, я заговорил о том, что вечно привлекательно для молодых душ и что никогда не может быть исчерпано в разговоре, – о власти чувства, которое, по понятию наших поэтов, подчинено светлой богине, родившейся из морской пены.

– Ты говоришь, – сказал я, – что многие искали знакомства с тобой? Неужели среди них никто тебя не привлекал? Неужели ты никого не любила?

Прошло несколько мгновений молчания, прежде чем девочка мне ответила. Не глядя

на меня, она сказала:

– Я не так понимаю любовь, как вы все. Вы хотите от любви того, что мне не нужно. А если я кого и любила, то его больше нет в живых. И больше я любить никого не буду.

– Милая девочка! – воскликнул я, – ты так молода, что тебе еще рано произносить такие клятвы. Вся твоя жизнь еще впереди, как впереди и твоя любовь. А что было в прошлом, это – детские мечты.

Сильвия, как все. очень молодые души, никак не хотела признать себя столь юной и начала решительно возражать мне, доказывая, что ей уже восемнадцать лет и что она пережила уже многое.

Мы еще говорили, но наш разговор быстро обрывался. Потом Сильвия сказала мне, что ей пора домой. Напрасно я ее уговаривал, напрасно просил возвратиться, и казалось, что мы больше не встретимся никогда. И мне не было жалко.

Но когда мы уже шли по направлению к театру Помпея, чтобы выйти на <дорогу к мосту Агриппы>, внезапно нам навстречу попала Мирра с толпой своих поклонников. Мы

встретились лицом к лицу, и я счел долгом вновь ее приветствовать. Я видел, как глаза Мирры изумленно устремились на Сильвию, и ясно было, что сестру Реи также поразило удивительное сходство. Но все это продолжалось лишь одно мгновение, потому что тотчас мы разошлись.

Сильвия спросила меня, кто была женщина, которой я поклонился.

– Это – твоя сестра, – ответил я невольно.

Потом, опомнившись, я заговорил о Рее. Я рассказал девочке все, что было можно, о Рее, о моей чудесной встрече с ней, о моей странной любви к ней, о наших новых встречах в Медиолане, а потом – в горах, лагере мытарств, о нашей жизни вообще и, наконец, о смерти бывшей пророчицы.

– Теперь я понимаю, что любил ее! – воскликнул я. – Теперь, потому что в то время не понимал этого. Воспоминание об ней живо в моей душе, тоска по ней не оставляет меня. Вот почему я был так поражен, когда встретил тебя – ее живое подобие. Вот почему я так добивался знакомства с тобой. Понимаешь теперь, Сильвия, меня?

Неожиданно Сильвия заговорила со мной другим голосом.

– Да, я тебя понимаю, – сказала она, – я все это пережила сама. Я тоже встретила одного юношу, который также напоминал лицом того, кого я любила... Ах, как я была поражена! Мне казалось, что тот воскрес... Я добилась знакомства с этим... <Его зовут Лоллианом.> Но у него оказалось только то же лицо. Все остальное было такое иное. Но что ж лицо! Не могу же я только смотреть на него. Тот же голос, но душа другая! Ах, как это мучительно! И с тобой будет то же! Ты тоже будешь только мучиться, если будешь со мной. У меня сходно с той, с твоей Реей, только лицо, я вся другая. Ты еще не знаешь: я очень дурная. Итак, оставь меня, мы сейчас расстанемся и больше никогда не встретимся.

Не знаю почему, но именно эти слова зазгли в моей душе с новой силой все желание узнать ближе Сильвию. Мне опять показалось, что не случайно она послана мне на моем пути. Я вновь нашел в себе все силы убеждения и сразу почувствовал, что мой голос звучит сильно и убедительно. Я стал гово-

ритель, что хочу во что бы то ни стало, хочу быть с Сильвией, умолял ее не отказывать мне, клялся, что не обижу ее ничем.

Вздыхнув, Сильвия сказала мне:

– Да ведь и я также просила того, другого, быть со мной, да прошу его об этом и теперь... Я знаю, что и ты должен просить об этом же меня.

Мы расстались, условившись вскоре встретиться вновь. Вечер того дня я провел в обществе Гесперии и нескольких ее друзей, среди которых был и Гликерий, причем мы обсуждали важные дела империи.

IX

С утра следующего дня я должен был начать исполнять свои обязанности, как триумвир по восстановлению храмов. Моими коллегам были назначенные раньше: сенатор Авл Альбин Камений, которого предложил Флавиан, и полуримлянин, полугерманец Сегест Висургий, ставленник Арбогаста, к которым, по совету Гесперии, я и отправился для знакомства.

Камений был уже не молод, хотя до сих пор ничем не сумел выделиться, так как постоянно был в числе того меньшинства сенаторов, которое не одобряло мер, принимаемых последним императором. Он жил уединенно, в простом двухэтажном, истинно римском доме, где не было затей новейшего времени, но были соблюдены все обычаи доброй Диоклециановой[91] старины. Меня провели в таблин к хозяину, и я увидел благообразного старика, несколько похожего на изображение императора Гальбы.

После первых приветствий <Камений> сказал мне:

– Наше дело правое. Христиане, пользуясь потворством императоров, захватили здания и земли, которые с незапамятных времен составляли собственность священных храмов. Имущество богов разграблено, святилища их осквернены знаком креста и разными богохульными изображениями. Мы не хотим ничего чужого, пусть христиане владеют тем, что они сами создали, пусть в их обладании остаются храмы, которые они сами построили, и вещи, которые они сами приобрели. Но украденное у нас должно быть возвращено. Если нечестно красть для собственных нужд, насколько постыднее воровать, прикрываясь именем бога!

Я тогда вполне согласился с доводом сенатора и сказал ему, что буду действовать всецело в его духе. Прощаясь со мной, он заметил:

– Ты – племянник Авла Бебия; я хорошо знал старика в прежние годы. Он был истинный Римлянин и всегда твердо отстаивал правду. В этом отношении следуй по его стопам!

Совершенно иным человеком оказался Се-

гест. Это был грубый воин, говоривший по-латыни с невероятным выговором и, по-видимому, необыкновенно гордый полученным им поручением. Он жил в караульне местной когорты вигилей, так как своего дома у него не было. Комната его была по возможности обставлена роскошно, то есть в ней были наставлены без порядка разные статуи, вазы и дорогие лежа. Несмотря на утренний час, я застал Сегеста за кубком вина, и он, кажется, даже не понял, зачем я к нему пожаловал.

Когда вполне выяснилось, кто я, Сегест заговорил со мной покровительственно, как старший с подчиненным.

– Мы свое дело сделаем, – сказал он, – и я надеюсь, что ты нам тоже поможешь. Не давать пощады этим смиренникам и лицемерам! Мне Арбогаст дал в помощь всю когорту, стоящую в этом доме. Мы по кускам разнесем этих христианских агнцев и вздернем на крест их служителей. Надо показать римским бездельникам (так Сегест называл граждан Города!), что мы не собираемся шутить.

Сегест непременно хотел, чтобы я выпил у него кубок вина, и лишь с большим трудом я

освободился от этого война.

Возвратившись в виллу на Холм Садов, я застал в доме целый переполох. Оказалось, что император перед своим отъездом в Медиолан, который был назначен на следующий день, решил сделать великую честь Гесперии и объявил, что пожалует к ней обедать. Рабы бегали взад и вперед, приводя в порядок комнаты; другие были разосланы по всему Городу с приглашениями; третьи помогали поварам на кухне. Сама Гесперия казалась крайне озабоченной, и от нее я мог добиться лишь совета одеться как можно более торжественно для встречи императора.

Видя, что дома мне не найти покоя, я отправился в термы Диоклециана, где и провел с приятностью время до вечера среди мраморных палат, в непрерывно сменявшейся толпе посетителей.

Вторично вернувшись домой, я нашел дом внезапно преображенным. Вилла Гесперии всегда изумляла изяществом и богатством своего убранства, но теперь она как бы преобразилась. Тысячи цветов развеивали свои благоухания. Редкие треножники и лампы,

великолепнейшие ковры и занавески, множество различных роскошных предметов было принесено откуда-то из кладовых. Мне показалось, что роскошь виллы в этот день многим превосходила роскошь Палатинского дворца.

Гесперия показала мне список приглашенных. С императором должны были прибыть Арбогаст, комит Арбитрион, Левкадий, рационалий Африки, юный Симмах, сын знаменитого оратора, и еще несколько знатных лиц. Гесперия со своей стороны позвала Флавиана, моих коллег Камения и Сегеста, юношу Гликерия (присутствие которого мне показалось лишним), Маркиана, нескольких сенаторов, друзей ее покойного мужа. Стол в триклинии был приготовлен для восемнадцати человек, так как император выразил желание обедать в самом тесном кругу.

Первыми прибыли, конечно, гости Гесперии, которые, согласно с правилом, не должны были являться позже императора. Все чувствовали себя как-то натянуто, и даже Флавиан, как казалось, был несколько смущен. Гликерий, который вообще держал себя со

мною очень развязно, сказал мне, указывая на него:

– Наш старик-то струсил! Одно дело говорить, что император – кукла в его руках, другое, – что эта самая кукла в любое время может отправить его на отдаленный остров за..., а то и лишит головы.

В этих словах мне послышалось что-то похожее на голос покойного Юлиания, и я опять подумал, что все прошлое оживает вокруг меня! Неужели так мала человеческая жизнь, что в ней одному человеку дважды приходится переживать одно и то же!

Шум у двери скоро известил нас о прибытии гостей. Сначала появились сенаторы, которых Гесперия благодарила за честь, оказанную ей посещением. Потом нарочно для того назначенный раб со всех ног прибежал сказать, что показались носилки императора и его приближенных. Гесперия и Флавиан столь же стремительно поспешили на порог, чтобы приветствовать его святость. Мы же почтительно столпились в атриум, ожидая появления высоких гостей.

Послышалось бряцание копий: то стража

размещалась у входа. Потом неспешной походкой, немного прихрамывая (так как он страдал подагрой), вошел к нам, впереди всех других, одетый в простую белую тогу, тот самый бодрый и чистенький стареющий человек, которого мы признавали за Августа. Громкими криками приветствовали его появление, и Евгений, уже привыкший к преклонению, небрежно отвечал нам на эту овацию. Шедший рядом с ним Арбогаст орлиным взглядом осматривал все углы комнаты, словно опасаясь, что где-нибудь спрятан злоумышленник.

Гесперия, одетая в златотканое платье, с волосами, тоже сплошь унизанными золотом, и в золотошитых сандалиях, казалась сверкающим видением, так как огни тысячи луцерн [92] отражались в ее блестящих украшениях. Она проводила императора и его спутников в большую экседру, [93] где были приготовлены прохлаждающие напитки и поставлено единственное ложе – для Августа. Но Евгений, заметив это, сказал добродушно:

– Пусть принесут ложа, и все садятся. В этом доме я – как друг, и хочу, чтобы все себя

держали просто.

Потом лукаво добавил:

– Ведь я не забыл, что не так давно еще был сам простым писцом.

Рабы опрометью бросились исполнять повеление, и скоро все присутствующие расселись в кружок, и только один Арбогаст остался стоять во весь свой исполинский рост.

– Мы рады быть у тебя, – начал Евгений, обращаясь к Гесперии, – так как много знаем о твоём усердии и преданности нам...

Но после этих слов Евгений тотчас же оставил торжественные обороты речи и продолжал запросто:

– Ведь мы с тобой обменивались письмами, когда я был квестором,[94] и ты тогда писала от лица императора Максима. Помнишь это?

Надо сказать, что напоминание было весьма неудачно, потому что всем хотелось забыть оба события: и то, что Август, которого мы почитали, занимал ему недостойную, скромную должность, и то, что наша Гесперия служила тирану Галлий. Однако всем приходилось делать вид, что они крайне до-

вольны речью императора, и Гесперия ответила:

– Могу ли я забыть, твоя святость, что имела счастье вступать с тобой в такие отношения?

– Э, нет! – остановил резко Евгений, – мы здесь все свои, так что не называй меня святостью: мне это имя не подходит.

И так, в течение всего времени, что делались последние приготовления к обеду и что длилась наша беседа, или, вернее, пока присутствующие почтительно отвечали на вопросы императора, он пытался отклониться от всякого почитания и заставлял нас держать себя с ним запросто, что, впрочем, плохо удавалось.

Вскоре тягостное положение было прекращено тем, что все перешли в большой триклиний и заняли места за столом, причем бросалось в глаза, что среди семнадцати мужчин была лишь одна женщина, сама хозяйка дома. Император, разумеется, был помещен на самом почетном месте, где по <обеим> его сторонам сели Гесперия и Арбогаст. Поблизости разместились другие знатные лица, но и

мне на этот раз было указано место довольно почетное, где рядом со мной оказался Гликерий.

Начался довольно скучный обряд торжественного обеда, который в свое время занимал меня, когда я был еще неопытным юношей, но который теперь казался мне прямо нестерпимым. Подавались разные исхищренные блюда, на сцене сменялись флейтистки и мимы, но долгое время беседа не налаживалась: гости не смели говорить откровенно в присутствии императора, а Евгений все старался держать себя, как простой гражданин.

Понятно, однако, вино сделало свое дело, так как всем приходилось пить немало, и с самого начала, по древнему обычаю, было выпито за здоровье императора столько кубков, сколько содержится букв в имени Eugenius. Хотя я и старался соблюдать всю возможную воздержанность, я сам чувствовал, что в голове моей шумит, и невольно значительно повышал голос, как и другие собеседники.

Естественно, разговор перешел на предстоящую войну, и все наперерыв высказывали полную уверенность, что император одержит

легкую победу над неосторожным Феодосием.

– Из кого это он наберет себе войска! – спрашивал комит Арбитрион. – Не из грекулов же! А весь этот сброд готов, персов, арабов, сарматов, которые не понимают друг друга и плохо разбираются в приказах своих вождей, разбежится при первом натиске наших испытанных легионов!

– Ты забываешь, однако, – сурово возразил Арбогаст, – что этот самый сброд разбил войска Максима и...

– Не разбил, дукс![95] – ответил Арбитрион, – воины Максима сами его покинули. Такую победу одержать легко! Мы же знаем верных наших воинов: они умрут за своего императора!

Последние слова были покрыты рукоплесканиями, и тотчас было вышито за будущие победы.

– Знак Геркулеса на наших значках поможет нам, – строго произнес Флавиан.

На минуту наступило молчание, потому что присутствовавшие не знали, как примет император такой выпад против христиан, но Арбогаст быстро поддержал своего друга.

– Римлянам легко, – сказал он, – быть непобедимыми под этим знаком, и мы вернем им эту непобедимость.

Они подняли кубки и опять пили за доблестных легионариев императора, но вмешался сам Евгений со своим лукавым видом и сказал:

– Вспоминается мне, однако, что не всегда легионы с Геркулесом одерживали победы. Случалось легионам пропадать и под этим знаком, <например>, около Кавдинских ущелий. Голову <Красса> бросили в парфянском театре. Кесарь и Антоний оба вели легионы с Геркулесом, однако победил из них только один. А мало разве терпели наши воины, еще не так давно, от персов, германцев и готов!

– Мудрость говорит твоими устами, Август, – сказал один из сенаторов, по-видимому, сторонник нашего дела, – но да позволено будет мне. сказать, что твои примеры, в которых проявляется вся твоя всеобъемлющая ученость, не совсем соответствуют нашему случаю. В те дни не вели войн священных, войн за оскорбляемых богов! Теперь – дело другое: на нашей стороне правда и боги; на

стороне врагов – ложь и обман. Исход такой борьбы не может быть сомнителен.

Было очевидно, что все присутствующие (за исключением одной, может быть, Гесперии) уже весьма пьяны, потому что, не стесняясь присутствия императора, все начали шуметь и говорить разом.

– Опасность для нас, – вставил и свои слова Гликерий, – не в войсках Феодосия. Опасность для нас сзади, в среде наших таких правителей, христиан, которые готовы жалить нас, как змея, в пятую. Смотрите, как себя держит епископ Сирийский! Смотрите, с какой неприязненностью выслеживает из своего Медиолана <Амвросий>!

– А что ж, – добродушно возразил Евгений. – Амвросий ведет себя очень дружески: в моем консistorии чуть не ежедневно получались его письма, в которых он выражал мне свою преданность!

– Христиане – лицемеры! – злобно заявил Флавиан. – Они ссылаются на слова своего Писания: «Нет власти, которая не от бога», – а сами устраивают заговоры и стремятся к обману, подчиняют своей власти дух императора,

как этот самый <Амбросий> подчинил себе несчастного Грациана!

Всеобщее опьянение развязало всем языки. Кругом много смеялись и шумели, и все готовы были высказать свои самые заветные мысли. Сам император, с явно полупьяным лицом, потеряв всякие признаки своего величия и хохоча, что-то весело сообщал Гесперии, когда наступил конец спорам о христианстве и вере предков. Должно быть, Гесперия сказала ему что-то обо мне, потому что тот вскоре подозвал меня к себе и, когда я поспешно подошел к его ложу, спросил меня несколько заплетающимся языком:

– Я тебя помню, юноша. Ты вчера был у меня в Палатине.[96] Хэ-хэ! Я не такой страшный человек, каким кажусь там. Мы с тобой поладим и даже подружимся. Конечно, если ты будешь служить верой... Ну, что, начал свои дела?

Я объяснил, что еще не было для этого времени, так как обязан действовать в согласии со своими коллегами.

– Начинайте, начинайте, – добродушно сказал император, – пора уже! А то скажут,

что мы бездействуем. Я сам приду посмотреть вашу работу. Приду пешком. Я – как Август, который ходил по Городу пешком и без спутников. Так действуйте. Утешьте этих жрецов, у которых отобрали их имения. Хэ-хэ! Что им следует по справедливости, то отберется в их пользу, – но только это, ни асса больше! Слышишь!

И император, шутя, погрозил мне пальцем.

– А что же им предложить, Август? – смеясь, спросил Флавиан. – Все, что у них есть, они награбили в наших храмах.

– Ну, ну, – возразил император, – неужели же быть немилосердным? Надо и им что-нибудь оставить. Ведь ими они владели чуть не целых сто лет! Да и если мы их слишком прижмем, они возмутятся. Они ведь тоже зубасты, и за ними пойдет много народа.

– Этого не бойся, император, – отвечал Арбогаст. – Если они осмелятся поднять мятеж, я превращу в конюшни все христианские храмы и всех их священников и епископов, вместе с Сирицием, пошлю учиться своему долгу перед империей – в легионы!

– Хорошо сказано, Арбогаст! – веско под-

твердил Флавиан.

– Однако ведь я тоже христианин, – внешне заявил Евгений.

Но это было сказано почти что в шутку, таким голосом, что никто даже не обратил внимания на слова императора, и все сочувственно наперерыв прославляли смелое заявление Арбогаста.

После этого уж все смешалось в общем шуме и крике. Разговоры о делах и важных вопросах как бы потонули в дружеских излияниях, веселых восклицаниях и шутках. Красивые флейтистки, по знаку Гесперии, сошли со сцены и вместились в наш круг. Пожилые сенаторы охотно подзывали их к себе и весьма откровенно заговаривали с ними и щипали их. Совсем пьяный император, побагровев и с помутневшими глазами, объяснял Гесперии, что она самая красивая женщина в Городе и во всей империи.

Окончание пира я уже смутно помню, потому что и у меня в глазах предметы как бы раздваивались, и я сосредоточенно старался рассматривать то ножку лампы, то стоявший близ меня сосуд.

– Брат Юний, ты пьян, – сказал мне сидевший поблизости от меня Гликерий.

Засмеявшись, я должен был согласиться.

Потом я видел, как в триклиний вносили пурпуровые носилки, и дукс Арбогаст настоятельно усаживал в них Евгения, который продолжал твердить, что он, как Август у Мекената, пирует запросто с друзьями. Гесперия пошла провожать высоких гостей, а меня предупредительный Гликерий, который сохранил более самообладания, чем я, отвел в мою комнату и передал на попечение рабам.

Х

Обдумав на другой день, с жестокой болью в голове, происшествия нашего пира, я должен был прийти к неутешительным выводам, что судьба наша находится в руках весьма слабых. Сам Евгений представился мне, как об нем и говорили, действительно ничтожным человеком, под пурпуровой тогой сохранившим сердце простого писца. Среди приближенных императора я не видел ни одного человека, который мог бы сильными руками поддержать его слабость, кроме разве

Арбогаста, человека, по-видимому, скрытного и своей простотой доказавшего, что он умеет довольствоваться поставленной себе целью.

«Но, может быть, – думал я, – все это к лучшему, и сама слабость императора обеспечивает удачу нашему делу».

Мне, однако, не было времени в то утро далее предаваться размышлениям, так как я был уже магистратом и мне предстояло исполнить свои обязанности. Надев подобающий цингул с красной пряжкой, я присутствовал при отъезде императора в армию <в> толпе других вельмож, сенаторов и магистратов, для чего мне пришлось несколько часов дожидаться на Священной улице под палящим солнцем. Стража немилосердно теснила нас, сзади напирал народ, желавший поглазеть на зрелище, и я должен был признаться, что положение простых граждан гораздо привлекательнее, чем должность триумвира. Я от души возрадовался, когда, наконец, под крики и шум показалась личная охрана императора, а затем и длинный поезд носилок, среди которых выделялся пурпур императора. Сам я стоял на таком расстоянии, что вряд

ли милостивый Август мог меня рассмотреть, но все же мне показалось, что, когда лицо Евгения обратилось в мою сторону, он лукаво подмигнул.

После обряда проводов я должен был отправиться к Камению, у которого было назначено первое совещание триумвиров. Мы взялись было за дело очень усердно, но вскоре выяснилось, что оно далеко не легко. Меньше других в предварительной разработке нужных приготовлений мог оказать услуг я, так как все же мое знание римской старины оказалось очень недостаточным, хотя я добровольно и прочитал когда-то все девяносто восемь томов Варрона.[97] Едва ли больше меня знал Сегест, который твердо стоял на одном: все христианские храмы надо отнимать, объявлять государственной собственностью и учреждать в них служение Меркурию, – бог, который почему-то особенно пользовался расположением германца. Гораздо более сведущим оказался Камений, который уже составил заранее длинный список храмов, отнятых в разное время христианами, но все эти данные надо было проверить и относительно

каждого постановить решение, так как мы пришли к выводу, что не следовало отнимать те храмы, которыми христиане владели свыше пятидесяти лет.

Провозившись над списком Камения более часа, пересмотрев ряд книг, принесенных из библиотеки хозяина, мы пришли в совершенное отчаяние. Писатели противоречили друг другу: где один указывал святыню Марса, другой называл храм Венеры, а на самом деле, по памяти Камения, там при его детстве стоял жертвенник Великой Матери. Столь же неверным оказался план Города, составленный к тому же в давние времена, после чего, по причине пожаров, новых построек и другим, многое в расположении изменилось, так что даже некоторые улицы исчезли, а площади оказались занятыми домами. Сегест, ум которого не был приспособлен к археологическим научным изысканиям, хотел было решительно прервать нашу работу.

– О чем тут думать, – сказал он. – Просто возьмем отряд воинов и пойдем по улицам. Где увидим крест, сбросим его на землю, а двери запечатаем. После найдем, кому пере-

дать здание, это очень просто...

Камений, однако, не согласился с таким решением вопроса, напоминая удар меча Александра по Гордиеву узлу,[98] но рассудительно заметил:

– Нам нужна помощь сведущего человека, и у меня есть такой. Я предвидел, что мы своими силами не разберемся в трудном деле, и потому заранее его припас. Сейчас я его прикажу призвать...

Позвонив в колокольчик, Камений приказал рабу привести человека, дожидавшегося в атрии. К моему изумлению, я узнал в пришедшем знакомого мне философа Фестина, с которым встречался в дни своего первого пребывания в Риме. То была еще одна тень прошлого, вставшая предо мной.

– Ты жив, милый Фестин, любимец богов! – воскликнул я входящему Фестину.

На этот раз Фестин был одет очень просто, хотя и не отказался от обычной одежды философа – большой аболлы.[99] Он меня также признал и приветствовал почтительно, но с достоинством. Мы усадили Фестина рядом с собой, и он тотчас начал свои изъяснения, ко-

нечно, подготовленные заранее, с такой поспешностью, что писец едва успевал записывать.

– Я начну с Эсквилина, – заговорил он. – Здесь прежде всего, на большом плане, списанном с того, который находится при <храме Священного Города>, мы видим храм Дианы. По столь явным (признакам), во времена царей был воздвигнут...

При таком способе речи дело подвигалось очень медленно, потому что каждый раз Фестин начинал со времени царей, а когда и раньше, от времен Сатурния, воздвигнувшего первые святилища на <Палатине>. Речь свою философ пересыпал ссылками на Варрона, стихами из Фаст Насона, изречениями оракулов, выписками из постановлений понтификов и сибиллиных книг[100] – но, как бы то ни было, после работы в несколько часов мы составили более или менее достоверный список храмов на Эсквилине, которые подлежало отобрать от христиан. Когда мы с Камением решили, наконец, что на сегодня довольно и что можно продолжение работы отложить на следующий день, мы заметили, что Сегест

глубоко спит в своем кресле, похрапывая весьма несдержанно. Переглянувшись и посмеиваясь, мы поручили разбудить его писцу, а сами вышли освежиться на улицу.

– Германец портит наше дело! – тихо сказал мне старик. – Что ему римские храмы, да что ему и наши боги! Он просто ненавидит Римлян и рад причинить им неприятность, хотя бы в лице христиан. Но чего же нам и ждать, когда во главе империи стоит не кто другой, как варвар Арбогаст!

Слова были, конечно, опасны, но Камений привык говорить смело, и можно было удивляться, что он безвредно пережил времена пяти императоров.

Что до меня, я был так утомлен работой, которая становилась вовсе не призрачной, что все мое существо настойчиво требовало отдыха. Подумав немного, я, попрощавшись с Камением, пошел к <Сильвии>. Сказать по правде, меня самого изумило это решение; непостижимым для меня образом, с тех пор как я был в Городе, меня как-то не влекло к Гесперии. Невольно я часто избегал оставаться с ней наедине.

Я пошел через Тибр на ту улицу, где жила Сильвия, и, как это было у нас с нею условлено, послал к ней встречного мальчишку с запиской. Мальчик, которого я дожидался в ближайшей копоне, вернулся с ответом, что меня просят прийти самого. Сказать по правде, я был разочарован, так как мне вовсе не хотелось заводить знакомство с семьей Сильвии и особенно в этот час вести какие-то случайные беседы о разных мелочах, однако делать было нечего; мальчишке я дал медную монету, а сам пошел в дом к Сильвии.

То был один из тех многоэтажных домов, в которых селятся бедняки, вроде того, в каком жила в Риме и Реа.

По грязной лестнице я вскарабкался высоко и, по указанию соседки, постучал в низкую дубовую дверь. Голос Сильвии сказал мне: «Входи». Я переступил порог и оказался в скудном жилье, которое было все видно, так как состояло всего из двух комнат, и занавеска, отделявшая вторую, не была закрыта. Комнаты освещались с маленькой террасы, быв-

шей за второй комнатой. Распятие (висело) на стене. На всем лежала печать скудости: стояли простые скамьи, грубо сколоченные армари и в глубине виднелись столь же простые две постели. Сильвия была здесь одна; она сидела на скамье, опустив голову, и даже не встала при моем появлении.

– Здравствуй, Сильвия! – приветливо сказал я.

– Зачем ты пришел? – неожиданно спросила она меня.

– Я пришел тебя видеть.

– Не надо было приходить, – угрюмо сказала Сильвия и вдруг добавила: – Я тебе говорила, что я – дурная. Не надо, не надо, не надо быть со мной!

Тут только я заметил, что лицо Сильвии было совершенно иное, чем при наших первых встречах. Глаза смотрели исподлобья и казались особенно большими, потому что зрачки их странно расширились, щеки были бледные, губы тесно сжаты. Так она еще поразительнее мне напоминала Рею.

Суровый прием не испугал меня. Я сел около Сильвии и взял ее за руку, но она тотчас

вырвала свою руку из моей и отвернулась.

– Сильвия, – сказал я, – на меня тебе нет причины гневаться. Я не сделал ничего против тебя. Если же тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; помни, что я твой друг и, может быть, сумею тебе помочь.

Сильвия ничего не ответила.

После молчания я спросил ее, где ее мать. Сильвия отрывочно ответила мне, что она уехала в другой город и вернется лишь на следующий день к вечеру. После этого разговор опять прервался.

Я делал попытки говорить о разных вещах, но Сильвия или не отвечала, или произносила отрывистые слова. Потом вдруг она встала, заломила руки и, смотря на меня глазами волчицы, сказала резко:

– Зачем, зачем ты пришел! Меня надо оставить, всем оставить. Меня надо убить. Я не должна жить. Такие, как я, не должны жить.

Я опять тщетно пытался взять руку Сильвии и стал осторожно ее успокаивать, но, кажется, она меня не слушала. Наконец я спросил, видела ли она Лоллиана.

– Ну, видела, – возразила Сильвия. – Что ж

из этого? Одно лицо – и только. А душа у него другая. То же и я. Я знаю, знаю, что с тобой будет то же. Ты тоже видишь только мое лицо, но узнаешь, что у меня душа другая. Уходи! Уходи!

Я, однако, не ушел, так как мне показалось, что я понял настоящую причину того состояния, в котором находилась Сильвия. Настойчивее, чем прежде, я стал ее уговаривать и, между прочим, сказал неосторожно:

– Если только не извинится Лоллиан, – забудь его. Я его не знаю, может быть, он – прекрасный юноша. Но ты говоришь об нем, что он только лицом напоминает тебе того, кого ты любила. Зачем же тебе быть с ним? Он никогда твоей любви не верил.

– Не верил, – как нимфа Эхо, повторила Сильвия. Желая вовлечь Сильвию в разговор, я тогда спросил:

– Но расскажи мне, что случилось с той, твоей прежней, настоящей любовью?

При этом вопросе лицо Сильвии исказилось, одну минуту она смотрела на меня с ненавистью, а потом вдруг выкрикнула:

– Он умер! Он умер! Я его убила!

Я испугался действия своих слов и поспешил успокоить девочку.

– Полно, Сильвия, – сказал я, – как ты могла кого-нибудь убить?

– Я его убила, – с тоской повторила Сильвия, – он меня любил, и я его любила. Но он хотел... он хотел от меня того, что я не могла ему дать. И он умер, умер, умер.

Чем больше волнение овладевало Сильвией, тем больше она становилась похожей на Рею в часы ее исступления. У Сильвии были те же блуждающие глаза, тот же странный взгляд, те же неверные движения. Она уже не молчала, напротив, она говорила без умолку, может быть, забывая, что я ее слушаю, может быть, даже не видя меня. Охватив колени руками, смотря безумно вперед, она повторяла:

– Господь запретил нам такую любовь. И я ее не хочу, – я не могу. Но он этого не понимал! Как он страдал! Ах, я должна была уступить. Пусть погибла бы моя душа! Дьяволы! Дьяволы! берите мою душу, жгите меня в огне, мучьте в кипящей смоле! Мне все равно! Только пусть он вернется, пусть на один день вернется ко мне! Бедный, бедный, бедный! Он

лежал на дне Тибра, в грязном иле, над ним текла вода. А я здесь сижу, я вижу солнце, я слушаю других людей. Господи! Господи! Спаситель, ты не прав!

Она плакала, слезы текли по ее щекам, все ее тело дрожало, и ее отчаяние было настолько сильно, что я не знал совсем, что мне делать. Охватив ее стан руками, я сказал ей с силой:

– Сильвия! Не думай об этом! Не бойся того, что тебя страшит. Нет никаких дьяволов! Никто не будет твою душу жечь огнем. Все это пустые выдумки, в которых нет и доли правды. И не бойся запретов своего Спасителя. Есть другая вера, более истинная, более прекрасная и свободная. Твоя – ужасает людей, та – делает их счастливыми; твой бог – карает, истинные боги – благословляют радость и жизнь.

С невероятным ужасом Сильвия вырвалась из моих рук. Обезумевшая, она смотрела на меня своими расширенными зрачками и безвольно делала перед собой какие-то знаки руками, словно крестила себя или меня. Потом вдруг она закричала мне:

– Дьявол! дьявол! дьявол! Теперь я знаю, что ты – дьявол! Вот почему я тебе доверилась. Ты – Лукавый, ты – соблазнитель! Прочь! Исчезни, во имя господи!

Но так как она видела, что ее заклинания не производят на меня никакого действия, она вдруг приняла другое решение. Еще отстранившись, она уже другим голосом сильно прокричала какие-то слова, может быть, – «я погибла» или «я осуждена», и, неожиданно повернувшись, бросилась в другую комнату.

Я последовал за девочкой. Но Сильвия, опередив меня, выбежала на террасу, быстрыми шагами и, не подоспей я в последнее мгновение, стремительно перекинулась бы через низкую загородку на каменные плиты мостовой. Я схватил девочку поперек тела, и между нами началась борьба. Я никогда не был телесно слабым, а жизнь в поле, среди работы, еще более укрепила мои мускулы. Однако в маленькой девочке, которую, как мне казалось, я мог повалить одной ладонью, внезапно проявились силы Антея. Она вырывалась из моих рук, стремясь броситься вниз, с такой силой, что минутами я не знал, на чьей сторо-

не останется победа. Своими маленькими руками, сделавшимися упругими, как лучший меч, она раскрыла мои руки и отталкивала меня в грудь, так что я шатался и едва не падал. Тяжело дыша, мы боролись, как борцы на арене, у самого края пропасти, я и видел перед собой совершенно безумное лицо Реи, как бы окаменевшее, превратившееся в лик бронзовой статуи.

Наконец мне удалось овладеть обеими руками девушки, и, уже не думая об том, что я ей причиняю боль, я просто закинул их ей за спину, охватив ее в свои руки, как веревкой, и, подняв, потащил внутрь комнаты. Почувствовав, что она побеждена, Сильвия вдруг сразу ослабла и стала покорная, как ребенок. Только все ее тело продолжало дрожать мелким и прерывистым трепетом. Я донес ее до одной из постелей, на которую опустил свою ношу, и тотчас девочка забилась на подушке в припадке неудержимых слез.

Опыт прошлого подсказывал мне, что должно делать в таком случае. Я достал воды, смочил виски девочки, дал ей пить. Я сел рядом и осторожно гладил ее плечи и руки. Но

прошло очень много времени, прежде чем Сильвия начала что-либо сознавать: до того она продолжала рыдать безутешно, повторяя бессвязные слова, не понимая, по-видимому, где она находится и кто с ней.

В комнате уже стемнело, когда слезы Сильвии немного стали стихать. Я мог рассмотреть в сумерках, что она открыла глаза и смотрит на меня.

– Тебе лучше, Сильвия? – спросил я.

– Это ты здесь, Юний? – ответила она мне вопросом.

– Это я, моя девочка, и я буду с тобой, пока ты не успокоишься.

– Не надо быть со мной, я – дурная, – проговорила Сильвия, потом закрыла глаза, и через несколько минут я убедился, что она спит.

Мне показалось невозможным оставить Сильвию одну, так как припадок ее безумия мог повториться. Поэтому я разыскал маленькую лампаду и зажег свет. Потом, уложив девочку поудобнее на постели, я поставил рядом скамью и, пристроившись на ней, стал смотреть на лицо спящей. Я много думал в те молчаливые часы, когда постепенно замолк

за стеной шум Города. Я вспомнил Рею и ее безумства; я вспоминал, как она так же рыдала, подобно Сильвии и примерно в таком же исступлении; я вспомнил смерть Реи и опять видел ее перед собой, как тень, с копьем, пронзившим ей <горло...>. Потом еще я вспоминал мою жену, Лидию, томящуюся одиноко в моем покинутом доме, не знающую ничего об том, как я провожу свое время в Риме. Много еще другого вспомнил я, но – странно! – лишь о Гесперии не приходило мне в голову. Потом незаметно я опустил голову на подушку рядом с головой Сильвии и заснул также.

Я проснулся от легкого толчка. Было почти совсем темно, так как лампада погасла и комната едва освещалась слабым светом молодой луны. Быстро приподнявшись, я увидел, что Сильвия сидит на постели и недоуменно оглядывается по сторонам. Повернувшись ко мне, она сказала:

– Почему ты здесь, Юний? Что случилось?

– Ничего особенного, – отвечал я. – Ты была немного больна, и, так как твоей матери нет дома, я не решился оставить тебя одну.

– Тебе так неудобно, – проговорила девоч-

ка, – ложись сюда.

И она подвинулась на постели, давая мне место. Не без удивления, я лег около нее и осторожно обнял ее; она не сопротивлялась.

– Тебе тоже неудобно, – сказал я, – сними свое платье.

– Нет, нет, – испуганно возразила девочка.

Но, действительно, в комнате было нестерпимо душно. После некоторого настояния мне удалось уговорить Сильвию сбросить с себя верхнюю одежду и сандалии; я тоже последовал ее примеру, и, полураздетые, мы опять прижались друг к другу на тесной девичьей постели.

Было темно и тихо. Невольно мы тоже говорили шепотом. И была странной и чудесной эта моя близость с маленькой девочкой, случайно встреченной мной на улицах Города. Теперь Сильвия доверчиво прижалась ко мне и нежно шепотом отвечала на все мои вопросы, как другу. Она говорила мне о Веттии и о том, как он добивался от нее любовных чувств, но когда я начинал целовать ее, она страдальчески отстранялась, повторяя:

– Только не это! Не надо, не надо!

И я, не осмеливаясь нарушить ее запрета, спросил ее:

– Скажи мне, Сильвия, ты никогда не лежала так ни с кем, ни с одним мужчиной?

– Так, да, это было, – прошептала девочка, – но только так, понимаешь? С ним – с Веттием. Но он требовал от меня другого, а я не хочу, я не могу...

И мы, опять прижавшись, лежали в объятиях, при тихом свете новолуния, шепотом обменивались немногими словами. Взволнованный этой странной близостью, я, почти потерявший свою волю, прикоснулся губами сначала ко лбу девочки, потом к ее щеке и плечам. Но тогда она от меня отстранилась. Когда же я, упорствуя, хотел целовать ее шею и маленькие груди, она опять забеспокоилась, как перед приступом, и страдальчески простонала:

– Юний, Юний! ты хочешь, чтобы я опять убежала от тебя?

Смущенный, я опустил руки и дал Сильвии клятву, что без ее позволения не притронусь к ней, а потом спросил:

– Разве ты помнишь, как ты убежала на

террасу?

– Я все помню, – тихо ответила девочка, – все. И это не в первый раз. Со мной что-то делается, когда я не могу больше жить. Ты знаешь, меня раз вынули из петли, – да, да!.. тогда я уже ничего не помнила.

Потом с грустным лукавством она добавила:

– Что ж! не всегда ты будешь около меня. Когда-нибудь это случится.

– Я всегда буду около тебя, – сказал я и в ту минуту искренно верил в свои слова.

Еще довольно долго продолжался наш тихий разговор, – разговор двух друзей, которые давно и хорошо знают друг друга, – и потом мы оба, кажется, в один и тот же миг, заснули опять.

Утром я проснулся позже Сильвии. Она уже была одета и готовила завтрак в соседней комнате. Поспешно одевшись, я вошел к ней, и нам было странно глядеть друг другу в глаза, словно мы были связаны какой-то тайной. Мы вместе ели хлеб, обмоченный в вине, мед и сыр, разговаривали о разных незначительных вещах. Так как Сильвия показалась мне

уже совершенно успокоившейся и так как мне опять надо было спешить к Камению, я попрощался.

– Мы еще увидимся, Сильвия? – спросил я, готовясь уйти.

– Конечно! – крикнула <в> ответ Сильвия. – Пришли мне записку, и я приду к тебе.

Когда я был за порогом, Сильвия вдруг подбежала ко мне, быстро обняла меня руками за шею, поцеловала прямо в губы и захлопнула дверь.

XII

После того жизнь моя приняла течение размеренное, словно вода спокойной реки. Большая часть дня уходила у меня на работу в коллегии. Мы составили наш список и объезжали Город, на месте осматривали храмы, которые подлежало отобрать у христиан. Вечером я большей частью встречался с Сильвией, и мы гуляли с ней под Портиком, или в Лукулловых садах, или за чертой померия. [101] Душа моя была так занята этой странной девочкой, что я начал было забывать о своем доме и жене, а в то же время почти не

Думал и о Гесперии.

С Гесперией мы, разумеется, встречались каждый день, но ненадолго и не наедине. Утренний завтрак мне приносили в мою комнату; прандий[102] мне приходилось проводить у Камения, а за обедом у нас почти всегда бывало несколько человек, среди которых и непрменный Гликерий; за этими обедами велись разговоры о важных вопросах, обсуждались известия, приходившие с Востока или из Медиолана, и не отводилось времени для беседы о личных делах.

Гесперия, кажется, замечала, что я отношусь к ней холодно, и это ее сердило. Несколько раз она пыталась вызвать меня вновь на откровенные объяснения, но я, предвидя, что опять поддамся ее чарам, всячески от нее уклонялся.

Так длилось время в течение почти двух недель, когда некоторые обстоятельства вновь изменили состояние моего духа.

Правда, вновь меня стало смущать мое пребывание в Городе. Я ехал туда, подчиняясь могущественной силе любви, но, когда эта власть ослабла, мне стало казаться, что я на-

прасно отдаю свои силы делу, которое могло бы совершиться и без меня. Стыд, однако, удерживал меня от того, чтобы отказаться от поручения, принятого на себя. Но я твердо решил написать подробное письмо жене, объяснить ей, зачем я нахожусь в Риме, и просить ее простить мне мой внезапный отъезд и с надеждой ожидать моего скорого возвращения.

Потом и самое дело, порученное мне, стало мне казаться ничтожным. Я видел, что и без моей помощи все будет исполнено, как должно, благодаря знаниям Фестина, ловкости Камения и неукротимой воле Сегеста. Несколько раз я высказывал это мнение самой Гесперии, и она начала посматривать на меня с тревогой.

Кроме того, меня раздражало положение в нашем доме Гликерия. Я почти не сомневался, что этот надушенный и завитой щеголь – возлюбленный Гесперии. Он держал себя скромно, и все же чувствовалось, что в нашем доме он – свой. Рабы относились к нему почти как к хозяину. В отсутствие Гесперии он свободно делал распоряжения и даже прини-

мал гостей. «Если тебе люб этот юноша, – думал я о Гесперии, – зачем тогда ты опять лицемеришь, обольщая меня лживыми уверениями в своей любви ко мне!»

Наконец случилось и несколько происшествий, которые решительно стали меня склонять к мысли, что для меня лучшее – уехать из Города.

Однажды утром ко мне явился раб, посланный Миррой, которая напоминала мне мое обещание посетить ее и звала в тот день к себе на обед. Мне показалось неудобным отказать, и я отправился на это собрание.

Мирра сдержала свое слово. Около самой Субурры у нее действительно был воздвигнут, как большой дворец, – великолепный дом, с рядом прекрасно убранных и обставленных комнат, блистающих мрамором, позолотой и статуями, с мраморным водоемом в перистиле, с обширной беседкой, оплетенной розами, на крыше.

У Мирры собралось лучшее общество Города, и я увидел, что почтенные отцы семейств и юноши лучших фамилий не стеснялись открыто посещать заведомую меретрику. Среди

гостей я, к своему удивлению, увидал Гликерия. Как новая Аспасия,[103] Мирра собрала у себя и философов, и поэтов, и ученых, и за столом все время шла умная и тонкая беседа, несколько не похожая на пьяные речи того пира у Гесперии, который был почтен присутствием императора. Обсуждали новые открытия Диофанта,[104] говорили <о поэзии, о философии>, и только о великих событиях в империи и о готовящейся войне не было произнесено ни слова.

Мирра была очень любезна со мной, отличала меня перед прочими, много говорила со мной, намеренно называя, не без легкой насмешки, триумвиром. Случилось мне говорить и с другими гостями, причем многие знали мое имя и как нового магистрата, и как племянника сенатора. В общем, я мог быть доволен вечером, если бы не одно обстоятельство.

Среди приглашенных был один приезжий, как потом оказалось, из Бурдигал, по имени Бибул. Когда, уже к концу вечера, мне случилось с ним разговориться, он передал мне, что недавно проездом был в Лакторе и слы-

шал там вести о моей семье. Бибул говорил очень осторожно, видимо, стараясь не огорчать меня, но все же я узнал из его слов самые тягостные вести. Сын мой, конечно, умер в самый день моего отъезда. Жена моя так была потрясена этой смертью и моим исчезновением, что несколько дней опасались за ее рассудок. Она ни с кем не говорила ни слова, не принимала пищи и не хотела выходить из своей комнаты. Оправившись постепенно, она поддалась влиянию христиан. Теперь все время она проводит на их собраниях, надела на грудь крест, молится целые ночи перед распятием и посещает все христианские богослужения. В этом соучастница с ней моя сестра, Децима, приехавшая в (Лактору) по смерти своего мужа. Она также предалась христианству, и в Лакторе говорят, что обе женщины намереваются в скором времени войти в один христианский монастырь.

Само собой разумеется, такие вести произвели на меня столь гнетущее впечатление, что я уже не мог оправиться более за весь вечер. Низкий широкоплечий мим разыграл перед нами на домашней сцене забавную коме-

дию о Данае,[105] в которой главную роль исполняла женщина, являвшаяся перед зрителями совершенно обнаженной. Напрасно Мирра пыталась вовлечь меня в спор о достоинствах недавно изданной книги моего соотечественника, славного Авсония. Я не мог преодолеть тоски, подавлявшей меня, рано простился и ушел домой.

Дома в тот же день я начал письмо к жене, потому что хотел раньше, чем появиться перед ней, предупредить ее письмом. Почти с полной откровенностью я рассказал в этом письме все, что переживал и переживаю. Говорил прямо о Гесперии, клялся, что наваждение ее чар сошло с меня, осторожно упомянул даже о Сильвии, так как слух об ней мог дойти до моей жены каким-либо другим путем, но обстоятельно объяснил положение дел в империи и, наконец, клятвенно обещал, что, бросив все ненужные дела в Городе, скоро вернусь в свою (Васкониλλу).

Письмо свое я не успел закончить в тот вечер, потому что было уже поздно, а я хотел еще написать убедительно об том, чтобы Лидия остерегалась христианских козней. Не на-

деясь победить ее упорства на расстоянии силой одних письменных доводов, я хотел, однако, удержать ее от решительного шага. Я знал, как трудно было бы мне вызвать ее из стен монастыря, потому что эти христианские западни уже не возвращают попавшую в них добычу (так я думал тогда).

Не закончив своего письма, я убрал его в мой ларь и запер на ключ, предполагая дописать его и отослать на следующий день.

Утром, однако, у меня не было времени заняться письмом, так как Камений прислал звать меня немедленно прийти на собрание коллегии. Заседание наше на этот раз продолжалось очень долго и было очень бурным, потому что Сегест, негодовавший на нашу медленность, требовал мер решительных. К сожалению, того же требовали и письма Арбогаста, которые нам переслал Флавиан. После долгих споров мы порешили исполнить волю императора и со следующего дня начать действительно отбирать здания, незаконно захваченные христианами.

После заседания я, как обещал раньше, пошел повидать Сильвию. Вместе мы отправи-

лись за город в Агриппиновы сады и там прятались среди пышной зелени разнообразных деревьев, красивых бассейнов и милых, удобных беседок, где можно было целоваться вволю. Но Сильвия была очень грустна в тот день и на мои расспросы отвечала, что жизнь в Городе становится нестерпимой. Не говоря об том, что заработок ее матери падает с каждым годом, теперь начали всяческие притеснения христиан, <...которым> просто не дают заниматься их ремеслом... Я даже опасался, что буду опять свидетелем такого же припадка, как в тот день, когда я был в ее комнате. И долгое время она не хотела отвечать мне на мои расспросы. Наконец, Сильвия сказала мне:

– Зачем, зачем ты пришел! Зачем я тебя узнала! Мне было легче без тебя.

– Боги покровительствуют мне и тебе, – сказал я.

– Бог, – поправила меня Сильвия.

– Хорошо, пусть бог. Ведь ты знала, что я не искал тебя. Так случилось, что мы встретились, и надо подчиниться судьбе. Но что же плохого в том?

Сильвия не отвечала, опустив глаза, и я, взяв ее за руки, спросил:

– Ты меня любишь, Сильвия?

Девочка сначала посмотрела на меня и возразила:

– Нет, должно быть, не люблю. Дважды в жизни любить нельзя. Я уже любила и больше любить никого не буду. Но с тех пор, как я тебя узнала, мне стало несносно все, что меня окружает. И этот... тот, о ком я тебе говорила, (Лоллиан) который лицом так похож на моего Веттия. Я его ненавижу теперь! А он все думает, что я его люблю. Как мне тяжело!

Мы сели в отдаленной беседке, оплетенной плющом, и я стал расспрашивать девочку о ее чувствах. Она уже привыкла говорить со мной откровенно, и с детской простотой она созналась мне, что у них происходят мучительные сцены. <Лоллиан> ревнует ее ко мне, требует, чтобы она не смела встречаться со мной, угрожает убить ее. Она же вполне понимает теперь, что ей этот <Лоллиан> не нужен, что его лицо – только красивое лицо, что она напрасно обольстилась его лживым сходством.

– Не бойся его, девочка, – сказал я. – Я сумею защитить тебя. Просто скажи этому <Лоллиану> или, еще лучше, напиши ему, что более не хочешь его видеть. Я имею некоторую власть и прикажу двум вигилям[106] стоять около твоего дома, чтобы охранять тебя от всех опасных покушений.

– Ах, я не боюсь его угроз, – возразила Сильвия. – Но мне больно видеть, что он мучается. Мне уж все равно, мне не быть счастливой. Ах, если бы я могла исполнить все его требования! Но я не могу. И потом, потом я хочу быть с тобой. Зачем, зачем мы встретились?

Все это было очень похоже на признание в любви, возникающей в неопытной детской душе. Но тут мне вспомнилось мое решение уехать, и я подумал, что жестоко было бы мне оставлять девочку одну после того, как я встревожил ее чувство. Но, несколько колеблясь, я сказал:

– Милая Сильвия, пока я ничего не могу сказать определенного. Но, вероятно, я скоро уеду из Города. Хочешь, поедем вместе? Пусть едет и твоя мать. Где-нибудь в нашей Аквита-

нии я найду, где вам жить и что делать.

– Но там твоя жена, – печально возразила Сильвия.

– Не знаю, – горько ответил я, – есть ли у меня еще жена. Но все равно. Я даю тебе обещание, я клянусь тебе, что никогда тебя не покину. Согласись уехать со мной. И для тебя начнется новая жизнь.

– Я не знаю, – прошептала девочка.

Я обнял ее и целовал в глаза, повторяя свою просьбу. Понемногу она почти уступила. Мне самому тогда казалось легко осуществить мой замысел. Я мечтал, что исчезнут все наваждения древнего Рима, что я вновь буду жить в своей тихой и милой Аквитании и что в Лакторе, близ меня, будет эта маленькая девочка, Сильвия, с ее большими глазами.

Почти веселыми, мы возвращались домой, вслух мечтая о новой жизни.

XIII

Я вернулся домой к самому времени обеда, и оказалось, что в этот день у нас нет никого, так что за столом я был наедине с Гесперией.

Теперь для меня несомненно, что это было сделано ею нарочно. Заметив мое охлаждение к себе, она решила поправить дело решительным ударом.

Неопытный глаз мог бы поверить, что Гесперия одета по-домашнему, но я не мог не заметить, что ее одежда и убор были тщательно выбраны. На ней было платье из восточной шерсти, такое легкое, что казалось пухом; перетянутое поясом, оно оставляло видеть середину тихо колыхающейся груди. Обнаженные руки были перехвачены браслетом по образцу германских женщин. Два крупные перла, словно две прозрачные капли воды, сияли в ушах; невысокая прическа была вся перевита нитями мелкого жемчуга.

За последние дни я привык встречаться с Гесперией запросто, говорить с ней о самых обиходных предметах, и сразу меня поразил

ее голос, когда она ко мне обратилась, голос нежный и вдумчивый, словно выходящий из самой глубины души, тот самый, который когда-то чаровал меня. Так странно было впечатление этого голоса, будившего все мои лучшие воспоминания, словно бы кто-то вдруг сорвал повязку с моих глаз, застилавшую мне свет, и я, после тьмы, вдруг увидел солнце. Я вспомнил Гесперию, прекрасную Гесперию, и с робостью и с удивлением смотрел на ее и давно знакомый, и странно новый для меня лик.

Никогда, кажется, Гесперия не говорила так прекрасно, как в тот вечер. Ее речь всегда была плавной и изящной, оживленной яркими мыслями, но иногда, в удачные дни, эта речь становилась пленительной до крайности. Тогда все равно было, о чем говорит Гесперия: все вопросы становились одинаково завлекательны в ее словах, и к каждому, самому ничтожному предмету она умела подойти со стороны неожиданной. Тогда словно дождь огней сыпался в речи Гесперии, и ум едва успевал следить за головокружительной быстротой, с какой сменялись ее мысли.

Я не сумею точно воспроизвести речи Гесперии в тот вечер, но помню, что незаметно мы заговорили о вопросах, которые нас особенно волновали, – о начатой нами борьбе за богов.

– Мир изменился, Юний, – говорила Гесперия, – но ведь мы остались людьми. Нас солнце греет так же, как оно ласкало спутников Энея; не иначе мы слышим шум пучины, чем певучий Ахиллес; и наша любовь та же, которая привела Дидону[107] на мстительный костер! И солнце, и море, и огонь, и ветер – все это вечно, вечно для нас, для людей, и тщетно нам искать иной, большей вечности. И та же вечность в наших богах, нам понятных, земных, богах, которые близки к людям. Почему мы знаем, может быть, существуют те зоны, [108] о которых мечтают восточные философы: у нас нет глаз, чтобы увидеть, нет слуха, чтобы слышать этих знакомцев. Пусть неведомое Божество, которое не отрицает ни Лукреций, ни Насон, ни Кикерон, за всеми пределами нашего познания правит миром. И, может быть, есть другие земли, где нет власти ни Юпитера, ни Плутона, ни Нептуна, ни

прочих Олимпийцев, но здесь, на земле, нам довольно наших богов, для нас великих, для нас непонятных, для нас вечных! Как было бы безумно стремиться нам уподобиться бес-телесному Творцу, своим перстом будто бы вписывающему звезды на небесную твердь! Но как прекрасна совершенство гармоний Аполлона, легкость Дианы и мужество Марта, в чьих жилах божественный ихор![109] Осме-янный Марсий[110] – образ человека; бедный Фамира[111] – наш прекрасный прообраз; Психея,[112] удостоенная соприсутствия на пирах бессмертных, – наша надежда. Красота богов, их доблесть, их слава, даже их преступ-ления – все это наше, то, к чему мы можем стремиться. Как вовеки человек остался суще-ством, слитым из души и тела, так его боги должны быть не только духовными, но и те-лесными. Наша правда в том, что наши боги нам подобны. Наши боги могущественны, но они не творят чудес, потому что чудо – бес-смыслица для рассудка, которой он не прием-лет. Наши боги бессмертны, но не вечны, по-тому что вечности наш ум все равно не пони-мает. Мы, Эллино-Римляне – народ ясных об-

разов, великих соразмерностей и гармоничной красоты. Пусть восточные варвары изображают богов в виде чудовищных зверей, пусть Египет складывает сказки о растерзанном и воскресшем Осирисе, пусть иудеи поклоняются безобразному владыке, сидящему где-то за небесами; наша святыня – мудрость Фидиева Юпитера, совершенный в своей мужественной прелести Феб, прекраснейшая из женщин Венера. Останемся им верны, если мы хотим остаться людьми!

Ах, мне хотелось бы записать все слова, которые в тот памятный день говорила Гесперия, так как я чувствовал, что ни один ритор и ни один философ не говорили более глубоких слов в защиту веры наших предков! Но мне память уже изменяет, и я не хочу искажать прекрасной речи своими неумелыми вставками. Гесперия говорила со мной о богах, потом о тайнах природы, потом о чарах любви, потом о смысле растений и цветов, потом о великих людях, потом о стихах Гомера и еще о многом другом, причем одно причудливо цеплялось за другое, одно переливалось в другое, словно ряд сверкающих водопадов,

устроенных искусным художником в таинственном саду, – и я, как очарованный, опять слушал эти песни Сирены, прикованный взором к горящим глазам и пылающему лику женщины.

– Прометей создал людей[113] по своему подобию, – говорила Гесперия, – прекрасный миф украден у нас христианами. Мы подобие полубога, и потому в груди каждого из нас душа та же, что у Олимпийцев. О, безумные проповедники лжи и обманов, укоряющие нас за то, что наши боги любят, страдают и даже свершают преступления, как люди! Но разве кто-либо из людей знает что-либо иное, кроме надежды и отчаянья, радости и скорби, ненависти и любви? В этой многоцветной радуге чувств – весь мир, и другого нет нигде – нет для нас. И мы сами становимся как боги, когда позволяем этим чувствам свободно властвовать нашей душой. Ахиллес был не ниже Марта, когда предавался своему гневу. Первый Кесарь был как Юпитер, когда посмел наложить свою власть на всю землю. И все мы подобны богу, когда любим. Разве ты сам, о Юний, не ощущал себя столь же сильным и

столь же блаженным, как Олимпиец, когда знал, что твои жилы стучат под дрожью любви? Божественная любовь, эта венчанная фиалками богиня, возносит нас до высот Платоновых идей, и, любя, мы дышим эфиром эмпирея.[114] Юний! мы выпьем с тобой за любовь!

Гесперия подняла свою любимую чашу из разноцветного стекла, оплетенную парой изменчивых змей, и смотрела мне прямо в глаза пристальным взором. Час был поздний, мы были одни в маленьком триклинии. Ароматичные факелы разливали кругом нежное опьянение. Я тоже поднял свой кубок и спросил тихо:

– Почему ты мне это предлагаешь, Гесперия?

– Потому что сегодня мы пьем с тобой в последний раз, – печально проговорила Гесперия, – сегодня мы прощаемся с тобой.

– Мы прощаемся? – переспросил я. – Разве ты уезжаешь?

– Нет, – возразила Гесперия, – уедешь ты.

Гесперия перегнулась через стол, приблизив ко мне свой грустный взор и свою откры-

тую грудь. Все продолжая смотреть мне в глаза, но прежним тихим голосом Гесперия сказала:

– Милый, милый Юний! Как дурно, что ты передо мной притворяешься. Я знаю все. Я знаю и то, как ты томишься по своей покинутой жене. И я знаю, что здесь, в Городе, ты любишь маленькую девочку с черными глазами. И еще знаю, что ты более не любишь меня.

В ту минуту я уже снова был во власти тайных чар Гесперии. Я не желал лгать, когда воскликнул в ответ:

– Это неправда, Гесперия! Всегда, вечно я любил и буду любить тебя одну!

Медленно покачав головой, Гесперия возразила:

– Не обманывай меня и себя, Юний. Да, ты меня любил: я это помню. И мне горько сказать, – ты меня любил до того дня, пока во мне не родилась любовь к тебе. После того ты меня то ненавидел, то презирал, то желал, как мужчина желает женщину, но более не любил. Воспоминания о прошлом заставило тебя приехать на мой зов, но, едва меня увидев, ты понял – там, в глубине души, что меня

не любишь. Разве иначе ты мог бы увлекаться той маленькой девочкой, опять напомнившей тебе ту твою Рею, ради которой десять лет назад ты потерял меня? Разве в сердце, которое любит, есть место для других чувств? Не лги, Юний, и не упорствуй. Уезжай, уезжай скорей, завтра же! Возьми с собой ту девочку и уезжай. Так будет лучше.

– Гесперия! я не могу уехать, – в волнении возразил я. – Я не могу покинуть наше дело.

– Наше дело! – горько ответила мне Гесперия. – Разве ты не видишь, что оно погибло. Евгений – тряпичная кукла; Арбогаст – дикий варвар, умеющий только рубить сплеча; Флавиан – от старости выжил из ума. Разве этим людям бороться с гением Феодосия? Наши легионы будут сметены, как прах, копытами готов[115] Алариха.[116] Нас всех, поклявшихся поднять мятеж, ждет смерть под топором палача. Беги, Юний, беги, пока не поздно: я не хочу, чтобы ты погиб.

– Гесперия! – воскликнул тогда я. – Я не могу уехать, потому что я люблю тебя.

Эти слова вырвались из меня невольно, но, едва произнеся их, я уже смутно понял, что

все кончено, что сеть новой Кирки опять захлестнулась над моей головой. И вот я видел Гесперию, которая уже пересела на мое ложе; она положила свои руки мне на плечи, и мое тело трепетало от этого прикосновения. Мои глаза опять тонули в глубине изменчивых глаз Гесперии.

– Не говори таких слов необдуманно, шептала Гесперия голосом подавленным. – Нет, нет, я не хочу, чтобы ты давал мне клятвы под влиянием вина и минуты. Ты должен уехать, я это решила, и это неизменно. Вот я поцелую тебя, как целовала когда-то, и это будет мой прощальный поцелуй тебе, мой милый Юний, мой маленький Меркурий.

И она сдавила мои губы своими губами, даруя мне один из тех своих поцелуев, которые пьянили острее самого крепкого кипрского вина.

А потом, когда я был еще в объятиях этого лобзания, вся прижимаясь ко мне своим телом, Гесперия, словно с мучением и ужасом, шепотом стала молить меня:

– Это моя последняя просьба, Юний! Завтра – ты уедешь. Но сегодня, эту ночь подари

мне! Этой ночи я ждала годы. Я воображала ее на своем одиноком ложе в Треверах. Я тысячу раз ее переживала в мечтах. Должны эти мечты на одно краткое мгновение стать действительностью. Все будет, как в блеске молнии, – осветится, мелькнет и исчезнет. Помнишь, в первый день твоего приезда я сказала тебе, что моя дверь всегда для тебя открыта. Но ты не захотел. Сжался теперь над новой Федрой,[117] которая дошла до последнего стыда, вымаливая ласки у своего Ипполита! Будет слишком жестоко, если ты мне откажешь. Боги, боги отомстят тебе, как сыну Тесея, если и ты отвергнешь мольбы обезумевшей женщины.

Она воистину казалась безумной, потому что порывисто привлекала меня к себе, сжимала в объятиях, целовала и смеялась, тогда как настоящие слезы текли по ее щекам. И – о бессмертные боги, – скажите, кто из людей устоял бы против такого искушения! Может быть, и святой праотец Иосиф поколебался бы в своей стойкости, если бы жена Потифара явилась ему в этом образе прекраснейшей из женщин. Но и он ведь не любил египетской

царицы, а я долгие годы томился несбыточной мечтой об ней! И в каком-то опьянении забвения я уже не знал, что со мной делалось, что мне шепчут нежные уста, куда меня влекут ласковые руки.

Так, в этот вечер, впервые после более чем десятилетней нашей близости, свершилось наше соединение с Гесперией, как двух любовников. В роскошном кубукуле, завешенном восточными тканями, познал я, наконец, любовь той, о которой безнадежно томился в своей далекой юности. И в тишине этой спальни, едва озаряемой лампадой, заставленной цветным стеклом, слушая страстный шепот женщины, обжигаемый прикосновением ее горячих плеч, я готов был верить, что нам «на вершинах стонали нимфы», как некогда Энею и Дидоне, грозой приведенным в одну и ту же пещеру.

Мне не нужно говорить, что на другой день я не уехал из Города. Новая страшная сила сковала меня с Гесперией, и я уже чувствовал, что сейчас не в силах ее покинуть. Мои недавние мечты рассыпались, как песчаное сооружение под бурным вихрем, и я хотел те-

перь одного: продолжать начатую нами борьбу, все равно, ждет ли нас победа и слава или позор и смерть.

Свое письмо к Лидии я решил уничтожить. Но, когда я открыл свой ларь, я с изумлением убедился, что письмо лежит как будто несколько иначе, чем я его положил. Конечно, я мог ошибиться, но мне казалось, что в памяти моей сохранились точно все подробности в расположении моих вещей. Ничего достоверного я не мог утверждать, но у меня осталось сомнение, что, в мое отсутствие, кто-то подобранным ключом отпирал мой ларь и доставал мое письмо, – кто? может быть, сама Гесперия, которая из него узнала о моих чувствах, о моих встречах с Сильвией и о моем решении уехать.

Книга третья

I

Между тем Флавиан, распорядившись в Городе, как полновластный владыка, торопил нашу коллегия с решительными мерами. Наш способ действия был очень прост. Когда, на основании данных истории и старых актов, мы приходили к убеждению, что такой-то христианский храм занимает здание прежнего святилища, мы постановляли, что оно должно быть отобрано в ведение Сената. После того мы, с отрядом стражей, являлись на место и приказывали христианским священнослужителям покинуть храм и отдать нам ключи дверей, позволяя вынести лишь то, что явно было внесено позже.

Каждый раз возникали шумные распри по поводу того, что именно принадлежит христианам. Дело в том, что их священные изображения были украшены драгоценностями, снятыми со статуй богов; вместо своих священных сосудов они употребляли утварь

древних храмов; многие золотые и серебряные вещи были переплавлены из таких же вещей, служивших для жертвоприношения Великой Матери, или Митре.[118] Христиане настаивали, что все это принадлежит им, потому что этими вещами они пользуются уже много лет. Собранные нами свидетели и ученый Фестин возражали, что все это похищено из древних храмов. Среди криков, жалоб и причитаний дело решал обыкновенно Сегест, который, по примеру древнего Бренна,[119] возглашал грозное: «Горе побежденным!» – и хладнокровно забирал даже такие вещи, которые несомненно были приобретены и сделаны самими христианами для своих надобностей.

Почти всегда во время нашего набега вокруг храма собирались христиане, среди которых одни рыдали, другие негодовали молча, третьи, – иногда, – пытались оказать сопротивление. Несколько раз нам приходилось вступать в бой с озлобленной толпой, причем в нас летели палки и камни. Не всегда даже решительные действия вигилей могли одолеть этот натиск, и впоследствии мы стали

брать с собою отряд легионариев, которым доводилось пускать в дело копья и обнажать мечи.

Сам Флавиан тем временем делал приготовления для торжественного очищения Города, оскверненного (по его словам) многолетним господством ложного культа. Так как в те дни мне не раз случалось встречаться с Флавианом, я могу сказать, что он представлялся мне действительно как бы помешанным. Трезвость и ясность ума, отличавшие его прежде, заменились в нем каким-то испуганием и самым ярким суеверием. В его голове смешались все религии земли, и он с одинаковой страстью защищал поклонение Осирису и Исиде,[120] не говоря о Великой Матери, или Митре, как божеству Юпитера и Юноны; только одна вера в Христа была ему ненавистна, и ее он презирал от всей глубины души.

Раньше всего Флавиан желал очиститься сам и с этой целью избрал великое священнодействие тавроболия. Он готовился к нему в течение многих дней уединенными размышлениями, благочестием, паломничеством к

священным урочищам и постом, уподобляясь в том христианским монахам. Самое торжество было назначено в загородной вилле Флавиана, куда в назначенный день собралась громадная толпа его друзей, клиентов, приближенных и приглашенных. Мы с Гесперией, конечно, должны были присутствовать также.

В саду была выкопана глубокая яма, покрытая сверху досками.

Торжество закончилось пиром, на котором много пили и много говорили о своем будущем торжестве. В этот день не было даже той небольшой сдержанности, которую проявило присутствие императора. За столом раздавались яростные крики против христиан, читались письма из Медиолана, в которых сообщалось, что легионы и наши все предводители находятся в великолепном порядке, производились здравицы за императора и будущие победы. Среди присутствующих <были> христиане...

Увлеченный своим новым счастьем с Герперией и занятый в разных празднествах, которые длинной чередой стали развиваться в Городе, я за эти дни не имел времени, чтобы видеться с Сильвией, и случилось так, что в течение почти двух недель я ее не видел. Я горько упрекал себя за такое небрежение, опасаясь, что мое отсутствие может дурно повлиять на девочку. Поэтому на другой же день после торжеств, проведенных в театре, я, воспользовавшись свободным днем, отправился разыскивать Сильвию.

Как обычно, я хотел послать ей записку, так как по-прежнему мне не хотелось заводить знакомства с ее матерью. Но когда я еще только переходил Эмилиев мост, я вдруг увидел впереди себя Сильвию в обществе какого-то юноши. Одно время я уже хотел незаметно удалиться, но и Сильвия и ее спутник меня заметили. Тогда я приблизился и приветствовал девочку в самых вежливых словах.

Сильвия внезапно смутилась, но потом

оправилась и спокойно познакомила меня со своим спутником: то был Лоллиан, который также вполне любезно меня приветствовал. С любопытством я рассматривал этого юношу. Ему было лет двадцать, не более, по одежде он принадлежал к зажиточной семье; у него были светлые волосы и голубые глаза германца, но держал он себя с чисто городской непринужденностью.

Я спросил молодых людей, куда они идут, и они мне ответили, что направлялись провести время в Домициевых садах. Тогда я просил позволения присоединиться к их прогулке, так как мне хотелось ближе узнать этого Лоллиана. Я знал, конечно, что мое предложение должно было ему быть неприятно, но он не возражал, а Сильвия предложила мне сопровождать их.

Так втроем мы прошли через весь Яникуленский сад. Почти все время пути мы шли молча, так как естественная неловкость владела нами. Время от времени я обменивался отрывками слов с Лоллианом и Сильвией. Но они между собой не говорили.

С намеренной небрежностью я объяснил,

что мой отъезд из Города отложен по важным причинам, что все последнее время был очень занят по своей должности триумвира и по приготовлению к играм Аполлона; воспользовавшись свободным днем, я решил повидаться с Сильвией, которую не встречал давно, и теперь рад, что вижу ее друга. Так как сегодня для меня – праздник, то я и предложил молодым людям принять как бы мое приглашение – разделить мой отдых.

Не знаю, насколько Лоллиан поверил моей речи, но он не возражал.

В мало посещаемых Агр<иппинских> садах было пустынно, и наша прогулка решительно не налаживалась, так как мы были враждебны друг другу.

Тогда я предложил ненадолго зайти в загородную таверну,[121] находившуюся здесь, род диверсория,[122] посещаемого гуляками по ночам, но почти пустынного в этот час. Мы заняли места за столом, под тенью старинного платана, спросили себе фруктов и вина. Я сразу заметил, что Лоллиан настойчиво участвовал в моих распоряжениях слугам: он желал участвовать в пиршестве наравне

со мной и не хотел принимать моего угощения.

Я понемногу расспрашивал Сильвию, как она провела эти дни, но она отвечала мне уклончиво. Тогда я спросил, намереваются ли она и ее друг пользоваться подготовлением праздников, и предлагал им без труда достать тессеры во все цирки, театры и прочие места.

Лоллиан, наконец, спросил меня:

– А что именно такое вы, нынешние правители, собираетесь праздновать? Разве вы одержали какую-либо победу над врагом?

– Нет, юноша, – спокойно отвечал я, – какая может быть победа, если война еще не начата. Это просто годовые игры в честь Аполлона, которые справляются со времен Августа и еще раньше.

– Однако, – возразил Лоллиан, – уже много лет этих игр не справляли.

– Что же такое, – ответил я. – Законы иногда нарушаются, но хорошо их восстанавливать.

– А что такое сделал этот ваш Аполлон, – запальчиво спросил Лоллиан, – чтобы его чествовать?

– Не будем поднимать споров о вере, – ласково возразил я. – Мы здесь для того, чтобы веселиться, а не ссориться.

Веселье наше, однако, несмотря на вино, не удавалось, и каждую минуту мне приходилось избегать стычек с Лоллианом, который готов был их затевать по всякому поводу.

Я ухаживал за Сильвией, предлагал ей фрукты. <Но> она, видимо, страдала от нашего общества. Вино разгорячило, наконец, <юношу>.

– Про тебя, Юний, – сказал он мне, – говорят, что ты пользуешься в Городе большой властью. Перед тобой трепещут все священники и монахи, потому что ты имеешь право выгонять их на улицу. Но скажи мне, почему именно тебе поручено такое дело?

Я сказал, что такова была воля императора.

– А не твоей покровительницы, прекрасной Гесперии? – возразил Лоллиан, вызывающе глядя на меня.

Я заметил, что Сильвия вздрогнула при этом имени и обратила глаза ко мне.

– Госпожа Гесперия, – ответил я уклончи-

во, – оказывает мне много милостей, и я ей очень признателен.

– Почему же она оказывает тебе эти милости? – продолжал настойчиво спрашивать Лоллиан, вообще поддавшийся влиянию вина и явно готовый пойти на все.

– Это надо спросить у нее, – сказал я, при-
нужденно смеясь.

– Может быть, за твои красивые губы, – произнес уже совсем дерзко Лоллиан.

– Милый юноша, – с достоинством возра-
зил я, – такой разговор не может быть любо-
пытен для Сильвии. Будем лучше говорить о
другом.

– А я думаю, – с ударением на словах возра-
зил Лоллиан, – что Сильвии этот разговор
очень любопытен. Ей надо получше узнать
того, кто себя выдает за ее друга.

Я уже начал жалеть, что затеял эту прогул-
ку, так как мне казалось непристойным, в мо-
ем звании, затевать глупую ссору с каким-то
неведомым мальчишкой, а оставить его
оскорбления без ответа я не мог.

– Сильвия меня достаточно знает, – строго
возразил я, – что же насчет тебя, Лоллиан, то

если я тебе не по душе, я готов покинуть ваше общество. Давайте распрощаемся и разойдемся. Вы будете продолжать вашу прогулку, а у меня еще достанет дел и на сегодня.

– Нет, – яростно воскликнул Лоллиан, совершенно потерявший обладание собой, – ты не должен уходить, прежде чем я не обличу тебя перед Сильвией! Не пытайся скрыться бегством! Лицемер! посмеешь ли ты отрицать, что недостойно соблазнять эту бедную девушку, тогда как сам живешь на деньги другой женщины, ради милостей которой бросил свою жену?

Стараясь сдержать себя, я вскочил из-за стола и сказал:

– Юноша! Было бы непростительно мне отвечать на твои необдуманные слова. Я ухожу. Прости, Сильвия, что я был невольной причиной такой тяжелой сцены. Я полагал, что мы приятно проведем время, и не ожидал таких оскорблений.

При этих словах я взглянул на Сильвию и прямо испугался. Она сидела совершенно бледная, как мраморная статуя, с обескровленными губами, прислонившись к стволу

дерева, и казалось, с минуты на минуту потеряет сознание. Невольно я бросился к ней, чтобы оказать ей помощь, и уже яростно крикнул Лоллиану:

– Негодяй! видишь, до чего ты ее довел! Уходи сейчас прочь, ты! Или я заставлю тебя раскаяться в твоём поведении.

Но Лоллиан, тоже поднявшись, загородил мне дорогу и, сложив руки на груди, возразил надменно:

– Здесь, Юний, ты не перед монахами, над которыми тебе дана власть, и у тебя нет с собою послушных вигилей. Какое право ты имеешь меня гнать? Сильвия – моя невеста, и я останусь с ней.

Минута была решительная, и размышлять было не время. Я с силой, хотя и без внешней грубости, схватил юношу за плечи и отбросил его в сторону. Но он, в ту же минуту, вытащил откуда-то нож, и дело могло перейти в очень безобразную и опасную драку. Однако мне помогли рабы таверны, которые уже давно наблюдали за нашим столкновением и теперь схватили юношу за руки. Я был старшим среди троих, моя одежда обличала во мне чело-

века видного, да, может быть, и мое звание было известно. Во всяком случае, не только рабы приняли мою сторону, но и хозяин таберны, прибежавший со всех ног к нам; он закричал своим слугам:

– Гоните этого негодяя вон, бейте его хорошенько, что задумал, мерзавец, убийство в моей таберне!

Я, разумеется, остановил горячность рабов и приказал им только удалить Лоллиана, который тщетно вырывался из мускулистых рук дюжих иберийцев.[123] Видя, что его усилия бесполезны, Лоллиан крикнул Сильвии:

– Сильвия! Я обличил перед тобой этого молодчика! Немедленно покинь его и следуй за мной! Иначе ты меня больше не увидишь!

Сильвия, которая несколько пришла в себя, ответила твердо:

– Я остаюсь с Юнием.

Лицо Лоллиана исказилось от злобы, и, снова рванувшись, он крикнул уже с угрозой:

– Так? Ты думаешь, я не сумею отомстить за себя?

Но хозяин таберны продолжал кричать, чтобы юношу тащили вон, и дюжие иберий-

цы действительно поволокли его за пределы диверсория и, кажется, даже за ограду сада.

Вся эта безобразная сцена произвела на меня впечатление очень тягостное и, по-видимому, такое же на Сильвию. Она вся дрожала и почти не сознавала, что с ней. Кое-как успокоив ее и расплатившись за вино, я решил отвести ее домой. Но Сильвия не решалась идти, так как была уверена, что Лоллиан, с ножом в руке, подстерегает нас за каждым деревом. Только после долгих убеждений я заставил ее выйти из таберны, но и то она принудила меня идти далекой дорогой к Нерониановскому мосту. Да и я сам на пути считал долгом убедиться, что и мой кинжал при мне.

– Теперь он меня убьет! – повторяла в ужасе девочка.

Я придумывал всевозможные доводы, чтобы ее успокоить, говоря, что найду для нее другое помещение в Городе, что прикажу особым вигилям охранять ее, что постараюсь, чтобы Лоллиану было приказано покинуть Рим, и многое другое. В конце концов я должен был войти в дом к Сильвии и, наконец,

познакомиться с ее матерью, доброй, простой женщиной, Таррацией, которая трогательно благодарила меня за заботу о дочери. В этот день я долго сидел у них, так что опоздал к обеду и не без смущения перенес укоризненный взор, которым меня встретила Гесперия.

III

После этого происшествия я счел своим долгом действительно позаботиться о судьбе Сильвии, и мое положение в Городе стало еще более затруднительным.

С одной стороны, приготовления к играм и мои занятия в коллегии по восстановлению храмов отнимали у меня много труда. С другой, Гесперия выказала неожиданно порыв ревности и настойчиво требовала от меня отчета едва ли не в каждой минуте моего времени. Мне приходилось лгать и выдумывать разные обманы, чтобы объяснить те мои отлучки, когда я посещал Сильвию.

Бедная девочка после происшествия в Домициевых садах захворала и слегла в постель. Я озаботился, конечно, прислать к ней медика, который, однако, мало что понял в ее

болезни и назначил ей (лечение). В то же время я исполнил одно из своих обещаний и снял для Сильвии и ее матери, Таррации, хороший дом неподалеку от арки Галлиена, где можно было надеяться, что Лоллиан не скоро их разыщет. Таррация весьма благодарила меня за мои милости и, кажется, была очень довольна тем, что ее дочь нашла такого видного покровителя.

Сама Сильвия стала неожиданно проявлять ко мне такую привязанность, что это уже смущало меня. Она тосковала, если мне в какой-нибудь день не случалось навестить ее, упрашивала, чтобы я как можно дольше оставался с ней, нежно прижималась ко мне и целовала меня, когда мы оставались одни. Смущало меня еще то обстоятельство, что, поправляясь, Сильвия мечтала о том, что мы будем вместе с ней присутствовать на разных предстоящих празднествах, между тем как я предвидел, что все эти дни мне придется оставаться неотлучно близ Гесперии. Конечно, я ссылался на свои занятия и на свои обязанности триумвира и квиндецимвира,[124] но видел, что девочка этим не удовлетворена.

К этим затруднениям присоединились еще волнения от одной встречи, происшедшей как раз накануне дня начала празднеств.

В этот день наша коллегия триумвиров отправилась на <Авентин>, чтобы опечатать и отобрать храм во имя святой <Марии>, построенный на месте разрушенного святилища Митры. Собственно говоря, права христиана на храм были бесспорны, потому что святилище Митры было разрушено до основания и на этом месте построено новое здание. Сегест, однако, настоял, чтобы мы не давали христианам потачки и наказали их за разрушение древнего храма отобранием нового.

Как часто случалось, нас встретила враждебная толпа ремесленников и разных граждан, вооруженных палками и камнями. При приближении нашего отряда эта толпа начала волноваться и кричать:

– Не дадим осквернять святого места! Умрем, но защитим храм божий! Прочь, нечестивцы!

Мы трое были на конях, и с нами было двадцать вооруженных человек, но нам не хотелось пускаться в ход насилия, так как населе-

ние Рима и так было возбуждено против нас. Камений пытался обратиться к черни с речью, ссылаясь на повеленья императора, но ему не дали говорить, заглушали его слова преступными криками:

– Не признаем Августом писца, потворствующего сенаторам! Не выдадим святого места на поругание!

Вспыльчивый Сегест, услышав, что поносят императора, не выдержал и первый приказал стражам гнать народ. Наш отряд кинулся на толпу, пытаясь оттеснить ее продольно поставленными копьями. Но тогда в нас полетели палки и камни.

– Бей их! – закричал Сегест.

Стража стала обороняться древками копий. Но это не помогло. Множество одолевало, тем более что с соседних улиц прибывали новые и новые кучки людей. Положение становилось опасным.

– Надо вызвать манипулу[125] легионариев, – сказал мне Камений.

Мне не хотелось, чтобы на улицах Рима затевалось настоящее сражение, и я возразил:

– Попробуем обойтись своими силами. Я

думаю, довольно будет одного удара, чтобы весь этот сброд разбился.

Подъехав ближе, несмотря на летевшие в меня камни, я крикнул сопротивляющимся воинам:

– Эй вы, ударьте-ка раз этих бездельников острием! Рослый германец, бывший подле меня, не заставил повторять приказ дважды. Он повернул свою гасту[126] и с размаху ударил ею какого-то мясника или булочника, упорно теснившего его. Копье вонзилось в грудь, брызнула кровь, и человек с воем повалился. Но вид крови и этот вопль привели толпу в ярость. Откуда-то в руках нападавших на нас появились большие ножи, вертела, железные полосы. Озверелые люди накинулись на наш маленький отряд, и началось плачевное избиение.

Наших двадцать человек не могло сопротивляться натиску, может быть, пяти или шести сотен людей. Нас оттиснули в угол между двумя домами; лошадь моя упала на задние ноги, и я едва удержался в седле, не имея возможности никуда пробиться. Удар камнем в голову едва не свалил меня на землю. У меня

все смешалось в глазах. Кровь текла по моим щекам. На моих глазах двое или трое из нашей стражи упали под ударами. Сегест врезался было в толпу, нанося удары обнаженным мечом, но вдруг и его лошадь повалилась, и германец оказался в руках яростной черни.

Можно было уже опасаться за самую нашу жизнь, как вдруг наступило какое-то новое движение, поднятые руки стали опускаться и дикие крики стихать. На пороге того дома, к которому мы были притиснуты, стоял человек и знаками призывал толпу успокоиться. Когда все более или менее стихло, этот человек заговорил мощным голосом, разнесшимся по всей площади:

– Дети мои! прекратите это побоище. Не камнями и палками должно защищать храмы божии: их охраняет свет истины и промысел божий. Оставьте безумству то его краткое торжество, которое попустил господь. Верьте моему слову: скоро-скоро мы вновь соберемся в этом храме славить всевышнего. Не противьтесь злой силе и не стыдитесь уступить. Господь бог, если бы захотел, сам защитил бы

Свое жилище лучше, нежели ваше оружие. Мирно разойдитесь, дети!

По мере того как оратор говорил, толпа стихала, так как, видимо, привыкла повиноваться речам этого человека. Послышались восклицания, но не враждебные, а, напротив, умиленные. Говорившего называли «отцом» и «миротворцем». И вдруг, словно чудом, скопище стало таять, и скоро мы были одни на площади.

Из всего нашего отряда сильнее всех пострадал Сегест, который был без сознания; у меня была рана от удара камнем за левым ухом, но незначительная; двое из вигилей получили более тяжелые ушибы. Оратор, обращаясь ко мне, сказал приветливым голосом:

– Domine Юний! Войди с твоими товарищами в мой дом. Вам надо оправиться. А я сам передам вам, если вы того требуете, ключи от храма, коего состою настоятелем.

Тут в этом человеке я узнал знакомого мне отца Николая, с которым беседовал десять лет назад.

Посоветовавшись с Камением, мы приняли предложение. Бесчувственного Сегеста

внесли на руках в скромное жилище отца Николая, где скоро раненый пришел в себя; тогда вигили на руках понесли его домой. Мы же с Камением, поставив стражу у ворот храма, остались у отца Николая, чтобы закончить наше дело.

Священник безропотно передал нам ключи от входной двери и объявил на наш вопрос, что не имеет притязания ни на какие вещи.

– Вы возьмете все, что найдете нужным и справедливым, – сказал он нам.

При такой уступчивости отца Николая дело было покончено быстро, и Камений ушел, чтобы сделать необходимые распоряжения, а я остался в доме отца Николая, так как чувствовал себя еще несколько слабым, да и любопытство влекло меня еще раз побеседовать с этим человеком.

– Мы снова встретились, любезный Николай, – сказал я, когда мы остались одни.

– И я рад, видя, что мои давние поучения не пропали даром, – ответил мне с улыбкой Николай.

– Как? – удивился я. – Ты полагаешь, что

твои поучения оказали на меня какое-то действие? Разве не пришел я сюда тем же, каким был десять лет назад? Разве не веду я снова борьбы с вашим, ненавистным мне, учением?

– Ты боролся прежде словом и убеждением, – сказал Николай, – потому что верил в свою правоту. Теперь же ты поднял оружие и отстаиваешь свою правду силой, так как уверился, что иначе ее защитить не можешь.

– Извини, – возразил я, – ты сам знаешь, что в былые годы у меня не было возможности бороться открыто, вот и вся разница. Но и прежде и теперь я готов всеми средствами искоренять губительные восточные предрассудки, ведущие к гибели Рима.

– Воображаешь ли ты себя более сильным, чем Нерон, чем Тиберий, чем Диоклециан? – был ответ отца Николая. – Они и им подобные три столетия гнали и истребляли христиан, когда те были еще слабы, силами всей империи, но не сокрушили истины. Вы же, маленькие Юлианы, захватив власть на несколько дней, силой одних ночных вигилей, обученных тушить пожары и ничему больше, думаете оказаться сильнее могуще-

ственных императоров в годы, когда власть креста утвердилась уже по всей земле? Какой ответ на мой вопрос тебе подскажет твой Аристотель?

– Ты забываешь, что это лишь начало, – проговорил я.

– А ты вспомни, что это тоже и конец, – так же торжественно и властно произнес отец Николай.

И уже не как мирный собеседник, каким он только что был передо мной, но как учитель и проповедник он заговорил с силой и пламенем:

– Разве все, все кругом, не убеждает тебя, что ваше предприятие – детская игра, а не дело мужей? Оглянись вокруг себя. Кто с вами? Двоядушный ваш император, который мирволит сенаторам, а сам принимает причастие у Римского епископа! Выживший из ума старый Флавиан, запутавшийся в легионе ваших богов и уже сам не знающий, кого и как чтить: Юпитера ли, Анубиса[127] ли! Дикий франк Арбогаст, убийца, удавивший Валентиниана Второго и тянущий свои окровавленные руки к императорской диадеме, которую

готов достать любой ценой: заигрыванием ли с Сенатом или покорением святой церкви! Кто еще? Симмах, кто поумнее, уклонился. Левкадий – ничтожество, думающее лишь об том, как бы нажиться. Маркиан? Твой дядя Тибуртин? Ты сам их не станешь защищать. Ах, да, еще эта женщина, Гесперия. Но я не буду говорить об ней дурно лишь потому, что она при дворе Максима носила крест на груди. С этими ли людьми вы хотите повалить, уже не говорю истину, но дело, взросшее в три столетия, поддержанное Константином Великим, Валентинианом, Феодосием! Дети могут так заблуждаться, а ученику реторов – стыдно!

Я молчал, потому что не находил возражений, а отец Николай продолжал:

– Ты пришел сюда с вооруженными людьми. Значит, ты веришь в силу. Так раскрой глаза – и ты увидишь, что сила на нашей стороне. Кто победит в сражении, благочестивый Феодосий или ваши вожди, не это важно. И победителями, вы будете побеждены. Каждое время верует в того бога, который ему соответствует. Было время, когда подоба-

ло чтить Юпитера. Но это время прошло. Более нет тех людей, и никакими чарами не воскресить Декиев Мусов.[128] В мир пришли другие люди и принесли другого бога. В ваших руках мечи, и вас боятся. Но ступай по улицам, ступай в дома бедняков, ступай в провинцию, обходи всю империю; много ли осталось поклонников древних богов? А толпы и толпы идут в храм Христа, и миллионы прислушиваются к словам Римских епископов, Амвросия, восточного Григория. Недавно здесь, в Городе, был Павлин, благочестивый юноша, бывший друг поэта Авсония, покинувший соблазн писательства ради истинной веры Христа. Если бы ты видел, как все население Города теснилось за ним, ты понял бы, куда и откуда дует ветер над кругом земли. Ты знаешь своих поэтов и веришь их басням. Вспомни образ вечной Судьбы, Мойры. Судьба, Судьбы решение упраздняет бывшее поклонение богам и ставит на его место веру в единого и вечного творца!

Мне не хотелось оставлять проповедь без возражения, но я не чувствовал себя в силах вести долгий диспут, тем более вспомнил, что

лучшие диалектики терпели поражение в спорах с отцом Николаем. Поэтому я ограничился тем, что сказал твердо:

– Пусть ты прав и мы слабы. Но на нашей стороне истина. Пусть мало у нее приверженцев. Когда-то и вы, христиане, были слабы, но одержали победу. Я верю, что мы в конце концов восторжествуем, потому что истина не может умереть!

И опять, как десять лет назад, отец Николай приблизился ко мне, устремил на меня пронизательные глаза, понизил голос и, как бы открывая мне некую тайну мистерии, почти шепотом проговорил:

– Ты ошибаешься, юноша, истины умирают.

– Как, – вскричал я, думая, что поймал моего диалектика, – но тогда и истина христианства умрет?

Тем же тихим и спокойным голосом отец Николай ответил:

– Да, юноша, придут времена, и истина христианства тоже умрет. Ее заменит другая, высшая. Но это будет через сотни, и сотни, и еще сотни лет. Ни тебя, ни меня тогда не бу-

дет в этой жизни, и сама память о наших именах пройдет. Кто знает, будет ли тогда еще стоять на своих семи холмах Тот Рим, который вы называете вечным, и будет ли еще звучать под солнцем латинская речь? Теперь же, когда мы живем, далеко, куда только достает наш умственный взор, мы можем видеть одно: торжество Креста. Он идет по землям и водам, по городам и полям, сияет над каждым видимым источником, над каждой горной возвышенностью. Когда вихрь пролетает над потоком, безумно противопоставить ему паруса: буря сорвет их, сломает мачту и моряков потопит. Юноша, поверни свои ветрила по ветру.

– Нет, – все так же твердо возразил я, – пусть я погибну, недостойно чести всегда присоединяться к большинству; прекрасно стоять и в меньшинстве, защищая правое дело. Если бы все рассуждали, как ты, не было бы Леонида и его трехсот, не уступивших полчищам персов.

– Не надо бросать жребий, – все так же тихо возразил отец Николай, – между буйволом и медведем: это ошибочный выбор. Не надо

различать только правых и неправых перед нашим человеческим судом: это взгляд близорукий. Надо выбирать правых перед таинственной Судьбой, – вот решение мудрости, и оно всегда приведет на сторону сильных. Греки были сильнее персов, и Леонид был прав перед богом, защищая дело греков. Юноша, ты нападаешь на нас во имя силы; пойми, на чьей стороне сила воистину, и стань под те знамена!

Тут нас прервал Камений, приславший за мной, чтобы утвердить опись предметов, найденных в храме. Я попрощался с отцом Николаем, и тот, опять подсмеиваясь, сказал мне, пророча:

– Будь здоров, Юний, и помни, что мы и еще раз увидимся!

IV

Со следующего после того дня начались Аполлоновы игры, которые должны были длиться восемь суток, с десятого по третий день до июльских календ.

На первый день было назначено торжественное представление в театре Помпея трагедии Эсхила в латинском переводе «Прометей освобожденный», которую уже давно не видел Рим.

Я должен был идти в театр с Гесперией и со всевозможными предосторожностями объяснил эту необходимость Сильвии. Для нее и ее матери я нашел два места в более отдаленных рядах, так как они чувствовали бы себя неловко среди знати.

Нечего говорить, что все входные тессеры были розданы задолго до дня представления, так как весь Рим рвался на это торжественное зрелище, и многие были раздосадованы и огорчены отказом, несмотря на то, что старинное здание могло вместить до сорока тысяч зрителей. Раньше я знал это великолепное округлое здание, построенное при первом

триумвирате и в последний раз возобновленное после пожара при Диоклециане, лишь с внешней стороны и только во время приготовлений к празднествам узнал его внутреннее убранство, поражающее своей роскошью. Весь театр, как стены, так и сидения, был из мрамора; колонны частью мраморные тоже, частью из драгоценного красного египетского гранита; в залах находились редчайшие статуи древних ваятелей и замечательное собрание картин греческого письма; за сценой был портик, окружающий площадку, усаженную сикоморами, украшенную водоемами, уставленную бронзовыми и золочеными изваяниями. Для нашего праздника многое в театре было подновлено, заново отделано, и все здание украшено тканями и цветами.

Гесперия начала готовиться к представлению еще накануне, так как ей хотелось явиться пред всем Римом во всем блеске своей красоты и роскоши. Два дня наш дом напоминал таберну торговцев дорогих материй, драгоценностей и разных женских украшений, а по комнатам стоял удушливый запах всевозможных ароматов и притираний. Рабы-

ни совершенно изнемогали, исполняя все прихоти госпожи, а причесывающие плакали с отчаяния, что госпожа гневается на них за недостаточное их умение. Я тоже, по настоянию Гесперии, должен был к этому дню заказать себе новую тогу с золотым шитьем, на которой красиво выделялся мой милиционный пояс с красным кингулем.[129]

К назначенному часу в нашем доме собрались все наши обычные посетители, так как Гесперия непременно желала прибыть в театр в сопровождении большой толпы друзей и поклонников. Здесь были и Гликерий, и Левкадий, и Маркиан, и многие другие, гордившиеся тем, что они будут в толпе сопровождающих Гесперию. Но на этот раз я был выделен ее особым вниманием: мне были поданы особо роскошные носилки, которые несли рядом с носилками Гесперии, и мы совершили свое прибытие ко входу в театр, почти как властелины. Толпа по пути кричала нам приветствия, и я не без удивления разбирал среди криков: «Vivat[130] Гесперия!», «Vivat Юний!» Впрочем, то были, может быть, нанятые за небольшие деньги уличные крикуны.

В театр я вошел с Гесперией рядом и видел, что тысячи голов обращались в нашу сторону, устремляя на нас глаза. Как ни стыдно мне в этом сознаться, но я должен сказать, что такое внимание странно польстило моему самолюбию, и я чувствовал какую-то гордость, ощущая на себе эти взоры. Но потом у меня мелькнула мысль, что это самое внимание, конечно, обратит на меня глаза и Сильвии, сидящей где-то в задних рядах, и тогда мною овладело беспокойство и смущение, которые я долго не мог преодолеть.

Впрочем, появление Флавиана произвело впечатление еще большее. Весь театр встал с мест и устроил консулу овацию, рукоплещая, топая ногами и выкрикивая его имя. Несмотря на то, что громадное число входных тессер было роздано людям нам близким и вообще тем, на которых мы могли полагаться, все же нельзя было забывать, что в театре находились четыре мириады[131] людей, по греческому счету. Невольно я подумал, что отец Николай был не очень прав, уверяя, что все население Города против нас.

Поминутно к нам подходили сенаторы и

разные магистраты приветствовать Гесперию и предупредительно осведомляться о моем здоровье. В отношении ко мне чувствовалось что-то заискивающее, и я явно сознавал, что занимаю теперь в Городе видное место. Как-то очень быстро я освоился с этим новым для меня положением и сам ловил себя на том, что седым старикам отвечаю покровительственно и несколько небрежно обращаюсь с юношами, не занимавшими никакого положения в империи.

Наконец началось самое представление, которое исполнялось знаменитейшими Римскими актерами,[132] избранными из всех театров, общественных и частных. Хотя отчасти я был знаком со всеми приготовлениями к представлению, все же меня поразила необыкновенная роскошь обстановки и одежд играющих. Перед нашими изумленными взорами явилась одинокая скала Колхиды, омываемая волнами океана, с прикованным к ней великим страстотерпцем, и красивый хор океанид; потом по голубому эфиру, словно на настоящих крыльях, пролетел вестник богов, Меркурий; потом <появился Геркулес>,

и потом <другие боги...>. Отряд океанид блистал индийскими перлами, казавшимися каплями воды на их плечах, грудях и волосах; одежда богов сверкала золотом; подлинный гром, благодаря искусным машинам, гремел в руках Юпитера...

Что касается самой игры акторов, она мне не очень понравилась, и, по правде сказать, на наших аквитанских сценах мне случилось видеть лучшую. Акторы слишком кричали, размахивая руками, ложились на землю в красивых сочетаниях, но все это не увлекало. Возможно, что мешали играть и громадные размеры театра, которые заставляли насиловать голос. Впрочем, сам голос всех игравших звучал изумительно хорошо благодаря замечательному устройству театра. Искусные геометры так распорядились его формой, что малейший звук со сцены доходил отчетливо во все углы здания, а скрытые в стенах, в разных местах, серебряные вазы отражали эти звуки, придавая им особую нежность и очаровательность.

По окончании трагедии, завершившейся бурными рукоплесканиями театра, была ис-

полнена еще смешная мимическая комедия, в которой было много непристойных и забавных сочетаний. Мы видели толпы обнаженных женщин, серебристых нимф, за которыми гонялись коренастые фавны, так хорошо одетые, что казались подлинными лесными божествами. Посередине сцены оказалось озеро, в которое женщины бросались со всего бега; они плавали и играли в настоящей воде, причем ее брызги долетали даже до первых рядов. Затем появился старый Пан, как бы для того, чтобы опровергнуть рассказ о его мнимой смерти, и все закончилось бакхическими танцами, перешедшими в оргию, причем в ту самую минуту, когда фавны овладели нимфами и те уже уступали мужскому насилию, быстро поднялся занавес.[133]

Мим понравился зрителям еще больше трагедии, и рукоплескания были еще оглушительнее.

После представления мы прошли на сцену, где Гесперия вместе с консулом лично благодарила строителей представления и раздавала им подарки. Потом по улицам, наполненным веселой праздничной толпой, мы все от-

правились в дом Флавиана на парадный обед, где снова сошлось все наше обычное общество и царило обыкновенное веселье торжественных пиров.

Оно было несколько омрачено известиями, которые утром привезли гонцы. Флавиан откровенно сообщил всем, что император Феодосий уже сделал смотр своим войскам в Андрианополе и объявил поход. Вместе с тем Восточный император объявил Евгения низложенным и все его назначения ничтожными. Таким образом Флавиан повелениями из Константинополя был лишен консульских фаск, и консулом Запада на этот год назначался сын Феодосия, десятилетний ребенок Гонорий.

Сообщая нам это, Флавиан старался сохранить вид беспечный.

– Да, мои друзья, – говорил он, – итак, я уже не консул, и вы должны подчиняться мальчику в детской тоге. Ну, что же, посмотрим, однако, насколько подобен Феодосий Фемистоклу и достаточно ли длинны его руки, чтобы вырвать секиры у моих ликторов.[134]

Другое сообщение гонцов Флавиан, одна-

ко, утаил от гостей и сообщил его лишь самым близким, в том числе Гесперии и мне. Оно касалось того, что правитель Африки префект Гильдон, на помощь которого с его испытанными легионами мы очень рассчитывали, ответил решительно, что не вмешается в борьбу, не будет оказывать поддержки ни той, ни другой стороне и останется в стороне от войны.

Все эти угрожающие вести не помешали общему веселью, которое длилось до поздней ночи. Потом, из дома Флавиана, при свете фонарей и факелов, под музыку флейт, мы, вооруженные, в темноте возвращались домой. Там меня ждали объятия и ласки Гесперии, и черным предчувствиям не было места в ту счастливую ночь.

Следующий день был назначен для народных празднеств. Флавиан, который, за отсутствием императора, распорядился в Городе, как государь, решил не щадить расходов, тем более что средства наши постоянно пополнялись золотой и серебряной утварью и другими драгоценностями, забираемыми нами в христианских храмах. В загородных садах и на Мартовом поле были уставлены огромные столы, за которые мог садиться каждый желающий из граждан, и для их угощения были заготовлены целые горы хлеба, свинины и бобов, а также многие тысячи бочек с вином. Так много было этих запасов, что их едва успели подвезти, и в виде потока, всю ночь по улицам Города тяжело гремели, мешая спать, телеги, нагруженные мехами с вином и свиными тушами.

Так как я не участвовал в устройстве этого народного празднества, то был более свободным и воспользовался этим днем, чтобы повидать Сильвию. Ее я нашел очень расстроенной и увидел, что все мои дурные предчув-

ствия оправдались. Девочка упорно меня спрашивала, кто была та красавица, с которой я присутствовал в театре.

Напрасно я ссылался на свое положение в Городе, говорил о том, что оно обязывает меня ко многим поступкам, которые я, может быть, и не совершил бы иначе, изображал мое отношение к Гесперии в самом скромном виде, – Сильвия ничего не хотела слушать и повторяла:

– Не знаю, не знаю почему, но я не могла тебя видеть с этой женщиной! Я больше никуда не пойду, где ты будешь с ней.

Я ничем не мог утешить девочку, но, напротив, все разгораясь, она дошла до совершенного безумства и стала говорить:

– Зачем тебе она, если ты говоришь, что хочешь быть со мной? Ты мне предлагал уехать с тобой, – давай уедем! Я согласна быть там, где твоя жена, но не хочу, чтобы с тобой была эта Римлянка. Ты должен выбирать между нею и мною.

Я заговорил о судьбах империи, о том деле, которому я служу, но все это было для Сильвии пустыми словами. Она не хотела меня и

слушать и горько возражала:

– Ах, ты уверял, что твоя встреча со мной – чудо, что во мне для тебя воскресла твоя Реа. Где же эти твои клятвы? Что же ты не стараешься сохранить свою Рею? Помни, что ты вторично ее потеряешь. Я так жить не могу, не могу!

Все это были какие-то детские речи, объясняемые неопытностью Сильвии, но меня они весьма встревожили, так как я знал ее порывистую душу и мог ожидать от нее поступков безумных. Я более не сомневался, что под влиянием даже самого малого волнения она могла броситься в Тибр или оплести себе шею веревкой. С другой стороны, не было во мне и той страсти, чтобы ради этой маленькой девочки, которая, правда, мне очень нравилась, бросить все свои дела и отказаться от счастья с Гесперией.

Пробыв весьма долго с Сильвией, погуляв с ней по Городу, который весь был наполнен пьяной и веселящейся толпой, угостив ее сладким вином и сладостями в одной приличной таберне, я достиг того, что несколько успокоил ее волнение. Однако я знал, что это

ненадолго, и вернулся домой удрученный.

Судьбе было угодно сделать так, чтобы те самые мучения ревности, которые только что я видел в лице Сильвии, тотчас же пришлось пережить мне самому.

До того времени я никогда не позволял себе следить за Гесперией, так как знал, что у нее много дел, что в ее руках нити всего нашего предприятия и что поэтому она должна постоянно посещать разных лиц или принимать их у себя. В тот день, вернувшись домой и узнав, что Гесперия приказала подать себе закрытые носилки и куда-то удалилась, я почувствовал неожиданное беспокойство, настолько сильное, что не устоял и стал осторожно расспрашивать Марину[135] и рабов. По их ответам я догадался, что Гесперия отправилась к Гликерию.

Какое дело могло быть у Гесперии к этому юноше, не занимавшему никакого положения в империи? Прилично ли ей было посещать его одинокое жилище, словно какой-то Коринне,[136] приходящей к Овидию? После недолгой борьбы с собой я также вышел из дому и направился к дому, где, как я знал, жи-

вет Гликерий. Действительно, у двери стояли носилки Гесперии и стояли наши рабы.

Я преодолел в себе желание войти в дом к Гликерию, но в тот же день, когда Гесперия вернулась, не удержался и спросил ее, какое у нее было дело к этому юноше.

Сначала Гесперия на мой вопрос рассмеялась и, ответив уклончиво, что дел у нее много, хотела говорить о другом, но я настаивал, кажется, побледнев, и в очень решительных выражениях. Тогда Гесперия, рассердившись, сказала мне:

– Ты сошел с ума, Юний! Думаешь ли ты, что у тебя есть право задавать мне такие вопросы?

– Ты сама дала мне это право, – возразил я. Гесперия опять попыталась обратить все в шутку, обняла меня за плечи и воскликнула:

– Он меня ревнует! Милый Юний, ты мне этим очень мил! На этот раз успокойся. Никаких любовных дел с этой маленькой куклой у меня нет и не будет. Я люблю тебя одного. Но в будущем (прибавила она, нахмурив брови) запомни, что я не терплю никаких стеснений своей свободы. Есть в моей жизни многое, что

я не могу открыть даже тебе. Ты не должен, не смеешь, я запрещаю тебе следить за мной и требовать от меня объяснений. Помни это, а теперь помиримся.

Мы помирились, но в моей душе остались мои подозрения, и я...[137]

VI

Еще через день назначена была великая процессия очищения. Гесперия настаивала, чтобы я принял в ней участие, и я не мог отказаться. С утра я должен был надеть свою праздничную одежду триумвира и отправиться к Флавиану, где собрались мои товарищи, много сенаторов и все виднейшие магистраты того года. Маленький атрий Флавиана был переполнен, все ожидали его появления, словно выхода императора.

После довольно долгого ожидания показался из двери Флавиан, одетый в консульскую трабею,[138] гордый и решительный. Он приветствовал нас не без величия, но стараясь держаться просто.

Речь Флавиана:

– Отцы, воины и квириты![139] Се пришли

великие дни, когда наш древний Рим восстанет в своем древнем величии. Обычай и предания отцов, поколебленные безумцами, ныне восстанавливаются. Храмы отеческим богам открыты, и в них курится фимиам. Те, которые были, во дни несчастья, отняты христианами, возвращены их истинным властителям – бессмертным Олимпа. Другие, которые были построены в местах, мешающих городской езде, разрушены. Нечестие, которое так долго оскверняло Город, уничтожено, а все мы трехмесячной лustrацией[140] очистили себя от скверны. Я, назначенный императором и сенаторами как консул этого года, почел своим долгом, за себя и за народ, очистить себя тавроболией.[141] Сегодня – последний день великого очищения. Обойдем весь город, поклонимся древним святыням, чтобы явить всему миру благочестие Города. После же приступим к другой задаче – к отражению врага, ибо неистово устремляются на нас безумцы, забывшие, что Римляне непобедимы под защитой своих орлов и значков с образом Геркулеса!

Мы приветствовали эту речь восторжен-

ными кликами. Мы вышли. Я сел на коня...

Процессии было назначено собраться у <храма Salutis>. Там уже собралась огромная толпа народа, жадная до всевозможных зрелищ. Тут были жрецы, одетые в тоги, обшитые золотом, весталки,[142] закутанные с головой в свои белые одежды, были этрусские гадатели, в былые дни занимавшиеся мошенничеством, гаруспики[143] или выдававшие себя за таковых, были галлы, служители Кибелы,[144] так называемые «собаки ее» – восточные евнухи, безбородые и отвратительные, была толпа служительниц Сераписа[145] и других иноземных божеств, – женщины, показавшиеся мне весьма похожими на уличных <проституток>.

Постепенно устроили процессию. Впереди должен был идти отряд африканских рабов, чтобы разгонять толпу. Потом первыми шествовали шесть весталок. Далее, на коне, в консульской трабее, окруженный шестью милитариями,[146] – консул. За ним – жрецы лучших храмов Города. Еще дальше – сенаторы, магистраты и разные видные лица. Наконец, сзади – толпа гадателей, гаруспики, слу-

жители и прислужники храмов и все женщины (из) народа.

Я мог только дивиться, откуда взялась вся эта толпа служителей богов, тогда как недавно еще руководители жаловались, что некому служить в храмах, что нет девушек, согласных принять на себя обет весталок, что все гаруспики и гадатели – мелкие мошенники и пьяницы. Всмотревшись, даже я, человек, которому Рим был все же знаком мало, узнавал некоторые лица: то были люди, недавно занимавшиеся совершенно другими делами.

Впрочем, порядок процессии поддерживался только первое время. Сначала, действительно, шли торжественно. Люди, одетые корибантами,[147] стучали в медь; какие-то молодцы в восточных балахонах трубили в трубы; галлы плясали; жрецы Сераписы разбрасывали цветы из корзин, весьма скоро опорожнившихся. Отряды воинов по сторонам должны были охранять порядок. Но потом все смешалось и спуталось. Задние напирали на передних, жрецы отставали, чтобы идти вместе с женщинами, постоянно забегали в

попутные копоны выпить чарку вина, сам консул не мог удержаться среди своих милитариев и наезжал на весталок, а толпа все теснила и теснила.

В давке я оказался рядом с Веллеем, который также ехал на коне, так как был префектом египетским. Узнав меня, он охотно со мной заговорил, и было в его голосе утомление и уныние. Я спросил его, откуда взялась такая толпа жрецов и жриц, тогда как еще недавно <некому было служить в храмах>.

– Милый Юний, – отвечал мне Веллей, – мы сейчас хорошо платим, это первое и самое важное. Потом мы – в силе, это второе и тоже очень важно. Сейчас народ не только становится поклонником Олимпийцев, но готов, если надо, стать жрецом сразу и Дианы, и Кибелы, и египетского Гора. Вот видишь этого толстого старика, с венком на голове? Теперь он состоит жрецом в храме Флоры, что <на Квиринале>, а назад месяц он был просто сыном откупщика, любившим покутить, а еще три месяца назад усердно посещал христианские обряды. Там, в толпе жриц Сераписа, ты насчитаешь многих известных проституток,

из тех, что прогуливаются днем и вечером под портиками. А эти пляшущие галлы обычно занимались тем, что на форуме обыгрывали простаков в фальшивые кости.

Увы! достаточно было всмотреться в лица, чтобы увериться, что Веллей был совершенно прав...

Между тем порядок процессии все более и более нарушался. Жрецы и даже иные магистраты приставали к жрицам, щипали и обнимали их. Число пьяных все увеличивалось, и уже происходили непристойные сцены. Понеслись дикие выкрики, прославлявшие богов, консула, Город и поносившие христиан и Феодосия.

Однако мы, как могли, выполняли задуманное шествие. Одной из главных его целей было обновление храма Сабинской <Юноны>, стоящего <на Эсквилине>. Там было устроено торжественное служение, причем...[148]

За время остановки у храма Флоры наша толпа увеличилась чуть не вдвое, но половина ее оказалась пьяной. Когда мы двинулись потом оттуда к Капитолию, на пути уже начались драки. Поймали какого-то человека, уве-

ря, что он христианин и тайно обрызгивает нас заговоренной водой. Бедного сильно избили, и только благодаря вмешательству Веллея воины спасли его жизнь. Потом напали еще на какого-то человека, в котором признали соглядатая императора Феодосия, хотя другие уверяли, что это известный мясник с боен Рима. Этого человека увели в тюрьму. Наконец, на углу улицы, с криками: «Долой христиан!» – бросились разбивать какую-то маленькую христианскую часовню, намереваясь, конечно, грабить. Наемные войска, по приказу самого консула, пустили в ход оружие, и началась свалка.

Мне все это стало так противно, что я незаметно свернул за угол и, очутившись на пустынной улице, поскакал домой. Мне не хотелось видеть конца зрелища в Капитолии. Я думал об одном, как бы позабыть это осквернение древних обычаев.

«Неужели, – думал я, – древнее римское благочестие погибло навсегда и остались лишь лицемерие, притворство и ложь? Неужели только за деньги можно теперь найти людей, готовых славить Олимпийцев?»

Неужели...»

Дома, отдав лошадь рабам, я осторожно пробрался к себе, чтобы меня не видела Гесперия; она стала бы упрекать меня за то, что я не исполнил своих обязанностей триумвира до конца.

VII

Мне не пришлось, однако, отдохнуть в тот день. Я лежал, закрыв глаза и предаваясь грустным раздумьям, когда неожиданно ко мне вошел раб с известием, что меня немедленно зовет Гесперия. С неудовольствием и некоторой тревогой я пошел на зов, как ученик школы, которого зовет учитель для выговора.

Гесперия была явно встревожена и взволнована. Она ни слова не сказала мне о том, что я покинул процессию. Но едва я вошел, обратилась ко мне с решительными словами:

– Юний, ты должен немедленно ехать к воротам <Капена>. Шайка христиан избивает там наших. Говорят, целое маленькое восстание. Скачи немедленно.

– Domina, – возразил я, – какое же я имею

право усмирять восстания? Это дело префекта Города.

– Ах! – гневно воскликнула Гесперия, – не такое теперь время, чтобы говорить о правах! Ты сам знаешь, что и префект, и Флавиан, и все сейчас заняты в процессии. Дело не ждет. Садись на лошадь, собирай вигилей[149] и скачи в лагерь нашего легиона! Спеш!

– Но вигили и легионарии откажутся мне повиноваться, – продолжал возражать я.

– Прикажи им, – еще более гневно воскликнула Гесперия, – и не медли!

Так повелителен был голос Гесперии, что я не посмел ослушаться. Я немедленно вышел, приказал подать мне лошадь, с которой еще так недавно сошел, и поехал через Город к знакомым мне казармам IX корпуса вигилей. Улицы были пустынные, так как все население глазело на процессию. В казармах оказалось всего человек двадцать. Я приказал им вооружиться и следовать за мной. Мы пришли к казарме V корпуса и забрали там тоже человек двадцать. После поисков мне с трудом удалось собрать отряд человек в шестьдесят.

Этот небольшой отряд, не зная, что из того выйдет, я повел к мосту <Проба>.

Я был бы весьма рад, если бы вигили меня не послушались, так как это сняло бы с меня тяжкую ответственность; я вспомнил пример <Манлия Торквата>, казнившего своего сына за то, что без его распоряжения вступил в сражение с <врагом>, хотя и одержал победу. Флавиан, бредивший родной стариной, способен был сделать что-либо подобное и со мной.

Уже когда мы приближались к окраине, мы стали встречать бегущих. Остановив одного из беглецов, я расспросил его, в чем дело. Он мне сказал, что громадная толпа в несколько тысяч человек христиан громит наши храмы и, вооружившись чем попало, идет на Город, чтобы избить, как он кричал, подлых язычников.

Я подумал, что мои шестьдесят человек весьма недостаточны для борьбы с такой толпой, но, вздохнув, повел свое войско дальше.

На поле я увидел действительно большую толпу, может быть, и не больше как человек в пятьсот – шестьсот, которая с палками и вилами грозно двигалась к Городу.

Я видел, что дело опасное, и решил применить военную хитрость. Отделив человек тридцать от своего отряда, я велел им идти через <Авейтин> в тыл толпы. С остальными я двинулся на толпу и громким голосом приказал ей остановиться. В ответ в нас полетели камни. Я приказал моим вигилям обнажить мечи и быть готовыми к удару.

Вигили вооружены, как известно, только <мечом>... Укрытые от метательного оружия только лишь пряжкой на руке, (они) приняли рукопашный бой.

Толпа выставила имя Христа и свое самодельное оружие, защищаясь отважно, но я заранее велел не щадить никого, и жестокие мечи рубили женщин. Я сам, впервые участвуя в битве, внезапно почувствовал в себе кровь моих предков-завоевателей и нещадно рубил всех, подвертывавшихся мне. Несмотря на то, численность нас стала одолевать, и мы принуждены были отступать шаг за шагом. Но тут сбоку, из-за памятников, выбежали наши, посланные в обход, и тоже ударили в толпу. Это решило исход сражения, и мятежники с криками стали рассеиваться.

Мы их гнали некоторое время и еще пора-жали между могилами. Скоро вся Аппиева до-рога и все пространство вокруг было усыпано поверженными телами христиан. Так одер-жал я первую, – да, впрочем, и последнюю, – победу в сражении «при моих ауспициях». [150] Разумеется, мало было почета в победе над безоружной толпой, но тогда, в пылу увлечения, я искренно чувствовал себя геро-ем, чуть ли не Сципионом, разбившим Ганни-бала. Собрав своих вигилей и убедившись, что все целы и число раненых, да и то слабо, весьма незначительно, я торжественно, слов-но в триумфе, повел их в Город.

Скоро навстречу нам заблестели шлемы. Это центурионы [151] вели мне на подмогу от-ряд легионариев, вызванный Гесперией. Уви-дев, что восстание подавлено, центурионы присоединились к моему отряду, и мы про-должали торжественное шествие вместе. В самых воротах Города уже стояла толпа, и я узнал носилки Гесперии. Она первая привет-ствовала меня как избавителя Рима от страш-ной опасности.

Потом мы направились к Капитолию, где

только что закончились торжества того дня и еще стояла громадная толпа, окружавшая Флавиана. Громкие крики, сопровождавшие нас, известили всех, что случилось что-то особенное. Гесперия приказала нести себя прямо к Флавиану и рассказала ему о моем подвиге, изображая его так, будто я с небольшими силами отбил нападение опасного врага – христианские ополчения, которые, хорошо подготовившись, хотели воспользоваться праздником, чтобы захватить власть в Риме в свои руки. Флавиан благодарил меня как консул, а я, по малодушию, не возражал на похвалы, которых, конечно, никак не был достоин.

Флавиан спросил меня, много ли христиан убито. Я ответил, что не считал, что, во всяком случае, значительное число.

– Их надо рубить без пощады, – сказал Флавиан, нахмутив брови. – Их надо истреблять, как диких волков! Они еще узнают меня!

Потом, повысив голос, он обратился ко всему сборищу:

– Квириты! Нам донесли сейчас о безумной попытке к восстанию, предупрежденной храбростью и бдительностью одного из на-

ших триумвиров. Запомните раз навсегда, что возврата к недавнему прошлому не будет! Никакие мятежи не помогут! Боги возвратились в свой Город и здесь останутся. Все, кто осмелится воспротивиться новому порядку дел, будут истреблены! Я прикажу распять на кресте каждого, кто осмелится поднять руки на храмы богов. Легионы за нас, квириды, – а вы, христиане, будьте счастливы, что мы еще терпим. Я сказал!

Послышались буйные клики, славящие Флавиана, которые я отчасти принимал и на свой счет.

Потом Флавиан, приказав мне ехать с ним рядом, медленно повернул в обратный путь; милитарии ехали впереди, толпа кричала приветствия. И мне казалось, что вместе с именем Флавиана прозвучало и мое.

Во всяком случае, с этого дня мое имя стало известным в Риме. Обо мне стали говорить, как о человеке выдающемся. Кажется, Гесперия старалась раздуть эту молву.

VIII

Последний день празднеств был посвящен играм в Амфитеатре.

Мне эти игры доставили столько же неприятностей, как и представление в театре Помпея. Сильвия непременно хотела идти со мной, и опять напрасно я объяснял ей, что мое положение мне этого не позволяет. Бедная девочка плакала и твердила, что любовь выше всех требований *dignitatum*. [152]

Кончилось тем, что мы в первый раз поссорились. Я пришел в негодование от упрямства девочки, которая свой бред ставила выше соображений о благе империи.

– Пойми же, – твердил я, – что ты – маленькая девочка, а я тебе говорю о событиях, имеющих значение для <государства>. Что значит твоя ревность да и вся наша любовь пред величием всей страны! Разве я должен, разве я смею...

Плача, Сильвия возражала мне:

– Ты мне прежде говорил иное. Ты насильно заставлял меня позабыть (Лоллиана). Ты принудил меня любить тебя. А теперь, когда...

Когда оба мы истощили все свои доводы, Сильвия сказала мне:

– Умоляю, упрашиваю тебя, не ходи вовсе в этот цирк! Хочешь, приходи в этот день ко мне. Я буду совсем одна. Мать уйдет... Я буду целовать тебя, как ты хочешь. Я буду совсем твоя, как этого требуют мужчины, понимаешь, совсем твоя, как ты этого захочешь, – только не иди в цирк с этой женщиной!

Искушение было сильное, но, когда я вспомнил о Гесперии, я понял, что не могу уступить ему. Сильвия стала предо мной на колени и обняла мои ноги, умоляя меня, но я решил вырваться из ее объятий и сказал ей:

– Неужели ты думаешь, что я могу продать честь родины хотя бы за твои ласки? Нет, девочка, знай, что благо империи для меня дороже всего – и любви и жизни. Прощай, будь умница! Верь мне, я вернусь к тебе.

Сильвия начала рыдать так сильно, что я боялся, чтобы с ней не случилось вновь припадка. Но потом вдруг успокоилась и сказала мне яростно:

– Так вот зачем ты звал меня! Я для тебя была просто как игрушка! Теперь я знаю все!

Ты любишь ту женщину, а мною только забавляешься. Глупая я была, что поверила тебе! Нет, тысячу раз лучше я вернусь к моему <Лоллиану>! По крайней мере, я знаю, что он меня любит.

– Вернись к нему, если хочешь, – зло сказал я и вышел из дома Сильвии.

Она бросилась за мной, с плачем, и я долго еще слышал ее восклицания:

– Юний! Юний! Юний!

Но я, стремясь быть твердым, все же удался, хотя на душе у меня и было тяжело.

Столь же тяжело было мне собираться на представление (в) Амфитеатр. Несколько раз я готов был пойти на все трудности и исполнить просьбу Сильвии – не пойти в Амфитеатр, остаться дома. Но решительные требования Гесперии, которая не допускала и мысли, чтобы я мог так поступить, лишали меня воли. Как в бреду, я облекся в пышную тогу, такую же, какую надевал в театр Помпея и <в театр Бальба>. Даже еще в последнюю минуту я готов был малодушно убежать, скрыться. Но Гесперия уже ждала меня опять разодетая, как восточная Семирамида,[153] и я, как кук-

ла, которую дергали за веревку, последовал за ней.

Опять необыкновенно торжественное шествие через весь Город в пышных носилках. Опять толпа, приветствовавшая приход великой Гесперии...

Опять в Амфитеатре, в тех первых рядах, где мы сидели, пришлось мне выслушивать льстивые речи разных молодых и старых людей, завидовавших моему незаслуженному успеху, беседовать с сенаторами и консулом, с префектами и (другими). Но мне было тяжело.

Самой игры я не помню. Она прошла для меня, как во сне, потому что одна мысль – о Сильвии – стояла в моей душе.

Были скачки синих и зеленых; было торжественное шествие авриг.[154] Авриги летели стремительно и падали. Народ на спине и в кунеях кричал. Люди выигрывали и проигрывали. (Был) бой со зверями. Потом было мимическое представление.

Ничего этого я не видел, погруженный в раздумье настолько, что Гесперия не раз шепотом напоминала мне, что на нас обращают

внимание и что мой печальный вид может подать повод к толкам о дурных вестях с войны... Я употребил все усилия, чтобы казаться беспечным.

Когда кончились игры, нас провожала толпа сенаторов до самых носилок. Все напереыв воздавали хвалы изумительным играм, подобных которым будто бы Рим не видел со времен Валентиниана. Все говорили так, словно Гесперия была единственной устройтельницей празднеств.

Наконец мы сели в носилки, и нас понесли. По дороге, совершенно случайно, произошла странная встреча. На углу, где стечение народа сделало движение невозможным, мы были принуждены остановиться. Гесперия приоткрыла занавес и раздраженным голосом спросила меня, неужели и нам не дают дороги. Я ей что-то ответил.

Но в это время я взглянул в толпу и вдруг увидел Сильвию, которая стояла рядом с <Лоллианом> и смотрела на нас. Сердце мое упало. Я едва не выпрыгнул из носилок, чтобы бежать к ней, но овладел собой, поняв, что это было бы неприлично и что все равно я ни-

чего не мог бы сделать сейчас. К тому же наши рабы растолкали толпу, и движение возобновилось. Я еще раз взглянул на Сильвию: она все смотрела на меня глазами не то укоряющими, не то торжествующими. Я совершенно весь похолодел, как мертвец.

Мы направились домой, так как в этот день у Гесперии должны были обедать все наши.

Прибыв домой, Гесперия направилась к себе, чтобы переодеться, а меня остановил раб и передал мне письмо, которое, по его словам, доставил без меня раб какого-то купца из Массилии. Я сломал печать. То было письмо от моей жены. Это было как бы той последней каплей, от которой проливается полный сосуд. Еще не прочтя письма, я залился слезами.

Придя в себя, я прочел вот что:

«Лидия Юнию, здравствуй! Потому я пишу тебе, что пишу в последний раз. Много я плакала о тебе, потому что я любила тебя всей любовью женщины. Любила, говорю я, хотя люблю и теперь и никогда не буду любить никого другого, — но уже я отказалась навсегда от земной любви. Знай, мой возлюблен-

ный супруг, что я отреклась от этой земной жизни, которая дала мне столько скорби, чтобы приобщиться к жизни иной, как невеста Христа. Ни в чем не подобает мне теперь упрекать другого, и я все простила тебе, Юний, хотя велика и нестерпима была та скорбь, которую ты мне причинил. Знай, что последнее дитя наше умерло в самый день твоего отъезда, и я плакала одна, я осталась одна со своей печалью и своим отчаянием, тщетно призывая тебя, кого я так любила и который не захотел облегчить мне моих страданий. Потом я получила вести о тебе от людей верных и знала все, как проходят твои дни в Городе. Но не думай, что это лишь женская ревность побудила меня на мое решение. Нет, я могла бы, если все, что я знаю, считать правдой, перестать быть твоей женой, хотя я люблю тебя, но... познай истину. Возлюбленный мой супруг, свет Христов осиял меня, и тайна просветила меня. Познав же истину, я уже не могу не следовать ей и следовать всем моим грехам прошлого, <невозможно>, чтобы я не искала всех средств искупить и замолить их. Возлюбленный мой супруг! Ес-

ли голос той, которой ты говорил когда-то о своей любви и которая любила тебя большей любовью, чем дозволено нам любить на земле смертного человека, значит что-либо для тебя, – услышь мои последние слова, которые я произношу прежде чем, как отказаться от мира. Воззри на ту истину, от которой ты всегда отворачивался и от которой пытался отвернуть меня. Подумай о безумии своих заблуждений, которые не могут не опротиветь твоему уму, ясному и сильному, и обрати думы к единственно истинной вере, к единственному спасению...

Брат мой во Христе, ты, кто был моим возлюбленным и отцом моих умерших детей, – в последний раз целую тебя заочно и заклинаю тебя: не иди против всемогущего, вспомни слова, услышанные Савлом: «Трудно тебе прати против рожна». Предвижу гибель твою и, любя тебя, заклинаю: оставь, пока не поздно! Прими мое целование и здесь Лидия сказала – vale».

Я был потрясен этим письмом. Целый хаос воспоминаний, чувств нахлынул на меня, как поток, прорвавший плотину. Я плакал, я отча-

ивался, я готов был тотчас ехать в свою родную Васкониλλу. Я желал во что бы то ни стало увидеть Лидию, сейчас, немедленно, чтобы сказать ей, что люблю ее одну, что все мои последние поступки были безумием, злым наваждением, волшебным чародейством. Мне было душно, и временами мне казалось, что я сейчас упаду.

Пришли меня звать к обеду. Я приказал сказать, что болен и не могу идти. Гесперия прямо возмутилась и даже пришла сама. Но, должно быть, вид мой был таков, что она не посмела настаивать. Мрачно я посмотрел на нее, одетую как меретрика, с голыми руками и полуголыми грудями, и сказал ей резко:

– Я не пойду к твоим гостям сегодня!

Гесперия побледнела под слоем своих румян и проговорила сквозь зубы:

– Тем хуже для тебя. Ты раскаешься.

Она ушла, а я опять бросился на ложе, целовал письмо Лидии и плакал долго и упорно.

IX

Утром на следующий день меня разбудил раб, говоря, что меня настойчиво спрашивает какая-то женщина. Это оказалась соседка, посланная Таррацией, матерью Сильвии. Совершилось ужасное дело. (Какой-то) юноша, поссорившись ночью с Сильвией, убил ее ударом кинжала, и мать, бедная мать, умоляла меня прийти к ней на помощь и отомстить за убийство.

Такое известие подействовало на меня, как удар грома. Я онемел, я едва мог стоять на ногах. На минуту опять в моей голове смешались времена, и мне казалось, что это я услышал весть о смерти маленькой Намии или о самоубийстве моего друга Ремигия. Вчерашнее письмо Лидии, эта ужасная смерть Сильвии, — неужели, неужели я тот несчастный, который приносит гибель всем, приближающимся к нему?

Я бросился к дому, где жила Сильвия. Но пока я бежал по улицам, тяжелое раздумье овладело мною. Я думал: «Зачем я пойду в этот дом? Зачем мне видеть труп бедной де-

вочки и ее окровавленную грудь? Чем я могу помочь матери в ее неутешном горе?..»

Примечания

«Высший монастырь (Maius Monasterium) на Лигере – монастырь Мармутье на Луаре, основанный Мартином Турским (ум. в 401 по Р. Х.)». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

2

Вергилий, «Энеида», II, 6.

[^^^]

Рим.

[^^^]

Италия.

[^^^]

«Имена Юниев – Junius – известный римский gens (род) <...>. Позже других упоминаются Юний Норбаны». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

6

Клио – в греч. мифологии муза – покровительница истории.

[^^^]

Галлия – в древности страна, расположенная между Средиземным морем, Альпами, Рейном и Атлантическим океаном. Римляне различали Заальпийскую Галлию (ныне Франция), Предальпийскую (Верхняя Италия), префектуру Галлии (Британские острова).

[^^^]

«Аквитания – так назывался юго-западный угол Франции, который носил это название в Докесаревой Галлии. Позднее (I–III вв. по Р. Х.) понятие Аквитании было расширено почти на половину Галлии». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

«Атрий – центр римского жилища, общая зала». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

10

Лактора – маленький город в Аквитании. Бурдигалы – город в Галлии, ныне Бордо.

[^^^]

Декурион – сенатор в муниципии.

[^^^]

12

Календы – в древнеримском календаре первые числа месяцев.

[^^^]

Асиана – Малая Азия.

[^^^]

«Грамматик – философ, учитель. Школы грамматиков были в Римской империи средними учебными заведениями». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Трох – обруч для катания.

[^^^]

Меркурий – в римской мифологии бог торговли, покровитель путешественников.

[^^^]

Курия – 1. Название сената городов Римской империи. 2. Место собраний граждан.

[^^^]

Когда мне едва исполнилось семнадцать лет, в праздник Либералий (17 марта 383 г. (Прим. Брюсова.) совершилось торжество моего облечения в мужскую тогу. Я снял с себя детскую буллу и надел белое одеяние.

[^^^]

Ретор – учитель в высшей школе.

[^^^]

Массилия – город в Галлии, ныне Марсель.

[^^^]

«Тессера – пароль (также билет для входа на различные представления, билет для проезда на корабле и т. д.)». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Асс – римская бронзовая мелкая монета.

[^^^]

«Коммендационное письмо – рекомендательное». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Олимпийцы – в греч. мифологии боги, населявшие гору Олимп.

[^^^]

Геркулес – в римской мифологии бог и герой, соответствует греческому Гераклу.

[^^^]

Медиолан – ныне Милан. В последние века Римской империи часто служил резиденцией императоров.

[^^^]

Горгоны – в греч. мифологии чудовищные порождения морских божеств, крылатые, покрытые чешуей, со змеями вместо волос; их взор превращает все живое в камень.

[^^^]

Ларарий – алтарь лару (покровителю домашнего очага).

[^^^]

«Таблин – комната в глубине атрия, служившая большею частью кабинетом хозяину дома». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Намия – имя девочки из романа Брюсова «Алтарь Победы», влюбленной в Юния и погибшей от любви.

[^^^]

Треверы – ныне город Триер.

[^^^]

Беата – благословенная (лат.).

[^^^]

Палла – плащ.

[^^^]

Югатин – бог супружества.

[^^^]

Домидук – бог, вводящий невесту в дом жениха.

[^^^]

Домиций – покровитель бракосочетания.

[^^^]

Мантурна – богиня, закрепляющая прочность брака.

[^^^]

Кубикул – спальня.

[^^^]

Геката – богиня колдовства.

[^^^]

Диэцес – территория Римской империи, разделенная на две половины (западную и восточную), распадалась в дальнейшем на префектуры, которые делились на диэцесы, управляемые викариями.

[^^^]

Валентиниан II – римский император, правивший западной частью Империи (368–392 гг.)

[^^^]

Эриннии – в греч. мифологии богини мести, в римской мифологии им соответствовали Фурии – олицетворение совести преступника

[^^^]

Юнона – в рим. мифологии покровительница женщин, материнства и брака, отождествлялась с греческой Герой.

[^^^]

Мойры – в греч. мифологии богини судьбы.

[^^^]

Виена – ныне город Вьен на Роне.

[^^^]

«Магистр скриний – важная должность, в сущности – хранитель ларцов с важными государственными бумагами; до некоторой степени – министр иностранных дел». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Бруктеры и комавы – племена прирейнских германцев и франков.

[^^^]

Алтарь Победы – алтарь перед статуей богини Виктории (Победы), где сенаторы клялись соблюдать законы империи.

[^^^]

По нумерации Брюсова здесь потеряна одна страница текста.

[^^^]

Гарпии – мифические существа, олицетворявшие ненасытный голод.

[^^^]

Кадуцей – жезл Меркурия.

[^^^]

Аргентарий – банкир.

[^^^]

Толоса – ныне Тулуза.

[^^^]

Мансиона – гостиница.

[^^^]

Кирка – Цирцея, одно из действующих лиц «Одиссеи» Гомера, волшебница.

[^^^]

«Перистиль – внутренний двор, окруженный колоннадой иногда с водоемом посредине».
(Прим. Брюсова.).

[^^^]

Триклинный – столовая.

[^^^]

Триподий – треножная подставка для лампы.

[^^^]

Лугдун – ныне город Лион.

[^^^]

Претекстат – теоретик римской религии.

[^^^]

Клепсидра – водяные часы.

[^^^]

Консисторий – совет императора, куда избирались пятнадцать человек из состава Сената.

[^^^]

«Клиенты – покровительствуемые, почитатели, клиенты. Древний обычай ежедневного приветствования патрона клиентами сохранился в IV веке». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

«Цикла – женское одеяние из легкой матери-
рии». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Армарий – шкаф.

[^^^]

Комит – звание, присваиваемое высшим государственным и придворным чиновникам.

[^^^]

Domina – госпожа.

[^^^]

Колон – арендатор земли, в описываемое время колонны считались «рабами земли».

[^^^]

Лектистерний – «угощение богов», религиозный обряд.

[^^^]

Пуны – так римляне называли финикийцев.

[^^^]

Фаски – пучки березовых или ивовых прутьев с выступающим из середины топором, перевязанные ремнем пурпурового цвета, были знаками консульского достоинства.

[^^^]

Пурпурные крепиды – обувь, также знак консульского достоинства.

[^^^]

Лик Юпитера – имеется в виду золотая статуя Юпитера в войске Флавиана.

[^^^]

Понтифик – председатель жреческой коллегии в Риме.

[^^^]

Triumvir aedibus recostituendis – «триумвир для возвращения храмов» (лат.).

[^^^]

Термы Каракаллы – общедоступные бани в Риме, славившиеся своей роскошью.

[^^^]

Юпитер Капитолийский – храм, воздвигнутый в честь Юпитера на Капитолии (одном из семи холмов, на которых раскинулся Рим).

[^^^]

Юпитер – высшее божество римлян, царь неба, защитник государства, семьи и гостеприимства. Его изображали с орлом, скипетром и громовыми стрелами. В греч. мифологии Юпитеру соответствует Зевс.

[^^^]

Транстиберин – квартал Рима за Тибром.

[^^^]

Domine – господин (лат.).

[^^^]

Сильвия и Рея – имена, тесно связанные в римском сознании: Рея Сильвия – имя матери близнецов Рема и Ромула, последний считается основателем Рима.

[^^^]

Инсулы – большие дома, квартиры в которых сдавались внаем преимущественно беднякам.

[^^^]

Illustrissimus – «сиятельнейший» – звание, присваиваемое сенаторам.

[^^^]

Тога – верхнее одеяние римского гражданина.

[^^^]

Номенклатор – раб, обявляющий имена посетителей.

[^^^]

«Пугиллары – таблички, обычно соснового дерева, с одной стороны покрытые воском, которые служили как записные книжки».
(Прим. Брюсова.)

[^^^]

«Меретрика – распутная женщина». (Прим.
Брюсова.)

[^^^]

Лупанарий – публичный дом.

[^^^]

Гетера – в древней Греции женщина, свободная от семейных уз, ведущая свободный образ жизни.

[^^^]

Vale – прощай (лат.).

[^^^]

Диоклетиан – римский император
(274–305 гг.).

[^^^]

Луцерна – лампа, в которой горело масло.

[^^^]

Экседра – гостиная в богатых домах.

[^^^]

Квестор – следователь по уголовным делам.

[^^^]

Дукс – предводитель, командир, вождь.

[^^^]

«Палатин – один из семи холмов Рима, заселенный раньше других, где находились храм Аполлона, библиотека». (Прим. Брюсова.)

[^^^]

Варрон Реатинский (I в. до н. э.) – римский писатель-энциклопедист, прозванный мудрейшим из римлян.

[^^^]

Гордиев узел – по преданию Гордий, царь Фригии, опутал ярмо повозки сложным узлом. Считалось, что тот, кто сумеет развязать «Гордиев узел», станет повелителем всей Азии. Александр Македонский разрубил узел мечом, и предсказание исполнилось.

[^^^]

Аболла – плащ.

[^^^]

Сибиллины книги – древние свитки с пророчествами.

[^^^]

Померий – старая городская черта Рима.

[^^^]

Прандий – второй завтрак, происходивший около полудня.

[^^^]

Аспасия – красивая, умная и образованная жена Перикла, в ее доме в Афинах собирались наиболее замечательные люди того времени (V в. до н. э.).

[^^^]

Диофант – александрийский математик IV в.

[^^^]

Даная – в греч. мифологии дочь Аргосского царя Акрисия. Акрисий, которому была предсказана смерть от руки внука, заключил Даную в темницу.

[^^^]

Вигили – рабы-стражники. Со времени Августа была организована милиция вигилей, состоящая из семи когорт, по тысяче человек в каждой.

[^^^]

Дидона (Элисса) – в антич. мифологии сестра царя Тира, основательница Карфагена. Не вынеся разлуки с любимым, покончила с собой, взойдя на костер.

[^^^]

Эоны – по учению гностиков промежуточные ступени откровения между богом и материей.

[^^^]

Ихор – эфирное вещество – «кровь богов».

[^^^]

Марсий – сатир, побежденный Аполлоном, которого вызвал состязаться в игре на флейте.

[^^^]

Фамира – древнегреч. поэт, который вызвал муз состязаться в игре на кифаре. Был побежден и ослеплен ими и лишился способности играть на кифаре.

[^^^]

Психея – в греч. мифологии олицетворение бессмертной человеческой души.

[^^^]

Согласно некоторым мифам, Прометей по воле Зевса вылепил из земли и воды первых людей по образу и подобию богов.

[^^^]

Эмпирей – в антич. мифологии самая высокая часть неба, где обитали боги.

[^^^]

Готы – германское племя.

[^^^]

Аларих – готский вождь.

[^^^]

Федра – в греч. мифологии дочь критского царя Миноса, вторая жена Тесея, влюбилась в своего пасынка Иполита, который отверг ее любовь. Федра оклеветала Иполита и повесилась, а Тесей проклял сына, и его растоптали собственные кони.

[^^^]

Митра – культ Митры пришел в Древний Рим из Ирана. В иранской мифологии – бог солнца.

[^^^]

Бренн – предводитель галлов, взявший Рим в 390 г. до н. э.

[^^^]

Осирис и Исида – египетские божества, муж и жена.

[^^^]

Таверна – лавка.

[^^^]

Диверсорий – загородный трактир.

[^^^]

Иберийцы – рабы-испанцы, завоеванные и романизованные римлянами.

[^^^]

Квиндецимвиры – коллегия, заведовавшая сибиллическими книгами и иностранными культами. В коллегии входило 16 человек.

[^^^]

Манипула – подразделение римского войска.
Римский легион делился на десять когорт, когорта – на две кентурии.

[^^^]

Гаста – метательное копье.

[^^^]

Анубис – египетское божество.

[^^^]

Декий Мус – имена двух римлян, отца и сына, героической смертью во время сражений обеспечивших победу римскому войску.

[^^^]

Кингул – красный пояс с золотой застежкой, который носили все чиновники, состоявшие на государственной службе.

[^^^]

«Vivat!» – «Да здравствует!» (лат.).

[^^^]

Четыре мириады – 40 000 человек.

[^^^]

Актор – актер.

[^^^]

В Древнем Риме занавес в театре не опускался, а поднимался из-под сцены.

[^^^]

Ликторы – служители, сопровождавшие и охранявшие представителей высшей власти.

[^^^]

«Марина – домоправительница Гесперии».
(Прим. Брюсова.).

[^^^]

Коринна – воспетая Овидием его возлюбленная.

[^^^]

Глава не окончена.

[^^^]

Трабея – парадная, а также консульская тога.

[^^^]

Квириты – название граждан Рима.

[^^^]

Лустрация – обряд очищения.

[^^^]

Тавроболия – обряд заклания жертвенных быков.

[^^^]

Весталки – в римской мифологии жрицы Весты, богини очага и жертвенного огня. Весталки должны были служить богине 30 лет, соблюдая обет безбрачия

[^^^]

Гаруспики – этрусские гадатели, предсказывавшие будущее по внутренностям жертвенных животных, по молнии и т. п.

[^^^]

Кибела – фригийская богиня, чтимая в Риме под именем Великой Матери.

[^^^]

Серapis – египетское божество.

[^^^]

Милитарии – воинские чины.

[^^^]

Корибанты – жрецы богини Кибелы.

[^^^]

Фраза Брюсовым не дописана.

[^^^]

Вигили – рабы-стражники.

[^^^]

Здесь в значении: «под моим командованием». Ауспиции – птицегадание.

[^^^]

Центурион – командир подразделения.

[^^^]

dignitatum – почетная должность, знак отличия.

[^^^]

Семирамида – легендарная царица Ассирии, основательница Вавилона.

[^^^]

Авриги – колесничные возницы.

[^^^]